



Артуро Перес-Реверте
Корсары Леванта
Серия «Капитан Алатристе», книга 6

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6658234
Артуро Перес-Реверте. Корсары Леванта: Эксмо; Москва; 2014
ISBN 978-5-699-70840-6

Аннотация

В XVII веке еще немногие решались усомниться в могуществе Испанской империи на водах Средиземного моря. Но у корсаров Леванта свой закон, и в нем нет места преклонению перед испанской короной. Бросить им вызов может только соперник, равный им по хитрости и отваге. Теперь наемному солдату и благородному авантюристу Диего Алатристе предстоит опасное путешествие из Неаполя к самым отдаленным и опасным форпостам Испании – Марокко, Алжиру и Мальте. Впрочем, он поднимется на борт галеона не только ради того, чтобы освободить Средиземное море для испанской торговли, но и чтобы свести давние счеты со своими врагами.

Содержание

I. Берберийское побережье	4
II. Сто копий – в оран	16
III. Вылазка в Уад-Беррух	31
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Артурос Перес-Реверте

Корсары Леванта

Посвящается

*Хуану Эславе Галану и Фито Косару —
в память Неаполя, где мы не познакомились,
и добычи, не нами награбленной.*

I. Берберийское побережье

Подобная травля – всегда дело долгое, но эта, телом Христовым клянусь, слишком уж затянулась, никак не способствуя умиротворению духа: весь вчерашний вечер, всю лунную ночь напролет и целое утро сегодня мчались мы, норовя ухватить добычу за хвост, по беспокойному морю, хлеставшему наотмашь тяжкими оплеухами волн, так что содрогался хрупкий костяк нашей галеры. Ветер до каменной твердости натянул оба паруса, гребцы-каторжане налегали на весла, моряки и наша сухопутная братия уворачивались, как могли, от пенных брызг, а 48-весельная «Мулатка», пролетев почти тридцать лиг¹ вдогонку за пиратским кораблем, наконец подошла к нему на выстрел, подав нам надежду во благовременье турка все-таки взять – если, конечно, выдержит мачта, на которую люди опытные поглядывали с опаской.

– Ну-ка, поскреби-ка ему задницу, – приказал капитан дон Мануэль Урдемалас с мостика на юте, откуда не отлучался, похоже, последние двадцать часов.

Первый орудийный выстрел близким недалетом взметнул фонтан воды у пирата за кормой. Наши канониры и все, кто был на носу, рядом с пушкой, вскричали «ура», увидав добычу в пределах досягаемости. Теперь надо уж очень постараться, чтобы упустить ее, мало того что у себя из-под носа, так еще и с наветренного борта.

– Зарифляют! – крикнул кто-то.

И в самом деле, с единственной мачты уже полз вниз и бился на ветру огромный треугольник паруса. Качаясь на крупной зыби, неприятель показал нам левый бок. И впервые мы смогли рассмотреть берберский корабль во всех подробностях – это была *галеота*, средняя галера с тринадцатью гребными скамьями, узкая, длинная и, по нашим прикидкам, способная взять на борт человек до ста. Из тех шустрых и поворотливых парусников, к которым, как башмак по мерке к ноге, подходили строчки Сервантеса, предусмотрительно рекомендовавшего:

Богат достоинствами вор, но
Их все к единому сведу:
Вор должен действовать проворно —
Подметки резать на ходу.

До сей поры он сначала был всего лишь одиноким парусом, белевшим там и сям на морском просторе, потом опознал как пират, нагло подобравшийся к каравану торговых судов, которые под присмотром «Мулатки» и трех других испанских галер шли из Картахены в Оран. Потом, когда мы на всех парусах погнались за ним, он мало-помалу, по мере того

¹ Лига – мера длины, равная 5572,7 м. – *Здесь и далее прим. переводчика.*

как шло преследование и сокращалась разделявшая нас дистанция, выростал в размерах. И вот предстал наконец в непосредственной близости и во всей красе.

– Сдаются, собаки, – сказал какой-то солдат.

Капитан Алатристе стоял рядом со мной и смотрел на пирата. Парус был уже убран, и поверхность воды вспороли лопасти весел.

– Да нет... – пробормотал он. – Драться собрались.

Я обернулся к нему. Из-под широкого поля старой шляпы на меня взглянули сощуренные от блеска воды светло-зеленые глаза, ставшие, казалось, совсем прозрачными. Четырехдневная щетина на лице, посеревшем, засалившемся, как у всех нас, от грязи и недосыпа. Внимательный взгляд старого солдата, неотрывно следящий за тем, что происходит на галеоте, где меж тем несколько человек пробежали по палубе на нос и весла левого борта затабанили, разворачивая парусник.

– Желают судьбу попытать, – безразлично добавил Алатристе.

И пальцем показал туда, где вился на верхушке мачты вымпел, указывающий направление ветра. Я все понял. Пират, осознав, что бегство невозможно, а сдаваться не желая, пытался на веслах выйти из ветра. У галер и галеот на носу было по одной большой пушке, а по бортам стояли камнеметы небольшой дальности. Пираты, хоть и уступали нам вооружением и численностью, решили, наверно, сыграть ва-банк, ибо удачный выстрел бакового орудия мог свалить фок-мачту или перекрошить немало народу на палубе. И, несмотря на неблагоприятный ветер, они сумели на одних веслах завершить маневр.

– Паруса долой! Весла на валец!

Судя по этим приказам, сухим и отрывистым, как выстрелы из аркебузы, разгадал намерение корсаров и наш капитан. И обе реи, державшие паруса, были поспешно спущены, а на помост гребной палубы, именуемый *куршея*, вспрыгнул с бичом в руке надсмотрщик-комит, и по его знаку голые до пояса гребцы заняли свои места на скамьях по обоим бортам – четверо на каждую – и под свист бича, вышивавшего у них на спинах разнообразные узоры цвета мака, разом опустили в воду сорок восемь весел.

– Господа солдаты! По местам стоять! К бою!

Раскатилась барабанная дробь боевой тревоги, и господа солдаты, то есть мы, грешные, непотребными словами поминая, как спокон веку ведется у испанской пехоты, Господа Бога, непорочно зачавшую Мать Его и святых угодников, что, впрочем, не мешало многим бормотать сквозь зубы слова молитвы, прикладываться к ладанкам-образкам и осенять себя раз по пятьсот крестным знаменем, принялась для убережения от неприятельских пуль прикрывать борта скатанными одеялами и тюфяками, разбирать принадлежности своего смертоубийственного ремесла, заряжать мушкеты, аркебузы, камнеметы, занимать места на полубаке и в галерейках, тянувшихся вдоль обоих бортов над гребной палубой, где каторжане усердно и в лад ворочали веслами, покуда комит – свистком и помощник его – голосом задавали их работе должную кадансу, продолжая в свое удовольствие охаживать бичами согнутые спины. От форштевня до кормы задымились фитили. Мне по относительно моему малолетству было пока не под силу управляться не то что с тяжеленным мушкетом, а и с аркебузой, тем паче что стрелять приходилось без подсошников да вдобавок на качающейся палубе, так что если не удержишь прижатый к щеке приклад, отдача может вывихнуть плечо или выбить передние зубы. И потому, туго стянув на голове косынку, я подхватил копьесо свое и саблю – короткую и широкую, потому как длинным клинком на тесной и узкой палубе орудовать несподручно, – и последовал за своим хозяином, отношения с которым, хоть он давно мне был никакой не хозяин, не претерпели особенных изменений. Поскольку он принадлежал к числу самых испытанных и надежных бойцов, место его по боевому расписа-

нию было у шлюпочного трапа – там же, где при Лепанто² на галере «Маркиза» стоял блаженной памяти дон Мигель де Сервантес. Жизнь, надо ей отдать должное, гораздо плести такие не очень-то забавные арабески. Капитан окинул меня рассеянным взглядом и улыбнулся одними глазами, по обыкновению пригладив пальцами усы.

– Это уже пятый у тебя абордаж, – промолвил он.

И принялся дуть на тлеющий фитиль своей аркебузы. Алатристе говорил, как и всегда, безразлично, однако я знал, что он за меня тревожится. Хоть мне и стукнуло недавно семнадцать лет – а может быть, как раз поэтому. Абордажный бой – дело такое: в нем сам Господь, вопреки поговорке, не отличит своих от чужих.

– Прежде меня к ним на борт не лезь... Понял?

Я открыл было рот, намереваясь возразить. Но в этот миг с берберийца грохнул первый орудийный выстрел, и по палубе пронеслись острые, как кинжалы, осколки.

...Долог был путь, приведший нас с капитаном Алатристе на палубу этой галеры, которая в майский полдень тысяча шестьсот двадцать седьмого года – сужу по давним своим записям, сохранившимся среди пожелтелых листков послужного списка, – сцепилась с пиратской галеотой в нескольких милях к югу от побережья Северной Африки, на траверзе, как говорят моряки, острова Альборан. После прискорбно-достопамятного приключения с кавалером в желтом колете, когда наше юное католическое величество чудом не пало жертвой заговора, устроенного инквизитором Эмилио Боканегрой, а хозяин мой, дерзнувший соперничать в любовных шашнях с вышеупомянутым Филиппом Четвертым и по этой причине оказавшийся поистине на волосок от знакомства с палачом, сумел благодаря своей шпаге и, без ложной скромности скажу – вмешательству шпаги моей, а равно и комедианта Рафаэля де Косара, сохранить не только собственные жизнь и честь, но и отвести от августейшей плотки царубийственные клинки на сомнительной охоте в окрестностях Эскориала. Венценосные особы – все как на подбор неблагодарны и забывчивы, и потому-то мы с капитаном подвигами своими не снискали себе ни малейшего преуспевания. Прибавьте ко всему этому еще и такое немаловажное обстоятельство, что вышеупомянутые шашни капитана с актрисой Марией де Кастро привели к обмену резкими словами, а затем и ударами шпаги с конфидентом и фаворитом нашего государя графом де Гуадальмединой, поплатившимся за это сперва проколотой рукой, а затем и разбитым лицом, отчего давняя приязнь, питаемая графом к Алатристе еще со времен итальянских походов и фламандских кампаний, сменилась лютой ненавистью. Полученное в Эскориале помогло нам свести дебет с кредитом, и, проевши ровнешенько столько, сколько заработали, то бишь оставшись при своих, вышли мы из этой переделки хоть и без единого медяка в кармане, но зато – донельзя довольные тем, что не угодили в каталажку и не получили в свое законное и безраздельное пользование семь футов земли в безымянной могиле. Альгвазилы лейтенанта Мартина Салданди, оправлявшегося от тяжелой раны, которую нанес ему опять же Диего Алатристе, оставили нас в покое, так что капитан счастливо избежал хвори, причиняемой намыленной пенькой, и не свесил свои солдатские усы на плечо. Всем прочим лицам, вовлеченным в это дело, повезло меньше, и на них с соблюдением должной секретности обрушилась вся тяжесть монаршего гнева: падре Эмилио Боканегра, раз уж его репутация праведника и мужа святой жизни требовала соблюдения известных приличий, наглухо заперли в приюте для умалишенных, а остальных участников заговора втихомолку удавили в тюрьме. О том, какая участь постигла итальянского наемника Гвальтерио Малатесту, нашего с капитаном старинного и личного врага, достоверных сведений не имелось: ходили слухи о жестоких пытках, коим перед казнью подвергли его в узилище, однако наверное никто ничего не знал. Что же

² В морском сражении при Лепанто (7 октября 1571 г.), где соединенный испано-венецианский флот разбил турецкую эскадру, Сервантес был ранен в грудь и левую руку, оставшуюся парализованной «к вящей славе правой».

касается королевского секретаря Луиса де Алькесара, то, хоть его вину доказать и не удалось, высокое положение при дворе и влиятельные заступники в Совете Арагона помогли ему сохранить всего лишь шкуру, но не должность: последовал стремительный, как молния, и столь же испепеляющий указ – и он отправился в заморские владения короны, в Новую Испанию. Как вы сами понимаете, господа, судьба этой сомнительной личности была мне далеко не безразлична, ибо корабль увозил в Индии не только дону Луиса, но и его племянницу – любовь всей моей жизни Анхелику де Алькесар.

Обо всем этом я предполагаю более подробно рассказать в дальнейшем. Сейчас же ограничусь тем, что уже поведал, прибавив лишь, что последнее наше приключение убедило капитана Алатристе в необходимости как-то упрочить мою будущность, избавив меня, елико возможно, от финтов и фортелей фортуны. Случай представился благодаря дону Франсиско де Кеведо, который с той поры, как упас меня от костра инквизиции, с полнейшим правом мог считаться моим крестным отцом. Ну так вот, поэт, чья звезда разгоралась при дворе все ярче, слава гремела все громче, вбил себе в голову, что, если к милостям нашей королевы, питавшей к нему самые теплые чувства, и благоволению графа-герцога Оливареса прибавится еще немного везения, я по достижении восемнадцатилетнего возраста смогу вступить в Корпус королевских курьеров, а о лучшем начале придворной службы и мечтать нельзя. Единственная, но серьезная загвоздка заключалась в том, что для производства в офицерский чин требовалось либо подходящее происхождение, либо неоспоримые заслуги, доказательством коих могло послужить мое участие в боевых действиях. Однако и здесь все обстояло не совсем гладко – хоть я два года провел в действующей армии, да не где-нибудь, а во Фландрии, и, между прочим, брал Бреду, но по молодости лет не был занесен в списки полка, что весьма пагубно отразилось на моей аттестации, каковой не имелось вовсе, ибо значился я не строевым солдатом, а пажем-*мочилеро*, а это настоящей службой как бы и не считалось. Следовало, стало быть, возместить недостачу. Способ отыскал наш друг капитан Алонсо де Контрерас, после недолгого гостевания у Лопе де Веги возвращавшийся к месту службы и пригласивший нас составить ему компанию на пути в Неаполь. Что может быть лучше, доказывал он, чем провести недостающие два года в расквартированном там полку испанской пехоты, где служат их с Алатристе старые боевые товарищи, а заодно и насладиться всеми удовольствиями, коими так щедро одаривает испанцев город у подножия Везувия, и прикопить деньжат при налетах, учиняемых нашими галерами на греческие острова и африканское побережье? Вернитесь, господа, ненадолго к прежнему ремеслу, взывал Контрерас, воздайте Марсу то, что воздавали прежде Венере да Вакху, и почитаемое немислимым – свершится... Ну и так далее. Аминь.

Одно сомнению не подлежало – капитана Алатристе ничего больше в Мадриде не удерживало: за душой ни гроша, амуры с Марией де Кастро завершились, а Каридад Непруха стала заговаривать о браке пугающе часто, так что, снова и снова обдумав предложение и опорожнив в полнейшем молчании множество бутылок вина, он наконец решился. И летом двадцать шестого мы отплыли из Барселоны в Геную, а оттуда – дальше на юг, до Партенопы, как в древности назывался Неаполь, где Диего Алатристе-и-Тенорьо с Иньиго Бальбоа Агирре зачислены были в полк. И весь остаток года, пока на святого Деметрия не завершилась навигация, бесчинствовали мы в Адриатике, на побережье Северной Африки и в Морее, сиречь южной части Греции. Потом, сделав перерыв на зиму, сбили малость каблуки, шляясь по бесчисленным неаполитанским увеселениям, наведались с познавательной целью в Рим, дабы я своими глазами смог увидеть поразительнейший на свете город и величественную колыбель христианства, а с наступлением мая, как положено, снова погрузились на отстоявшиеся в порту и готовые к новой кампании галеры. Первое плавание совершили, эскортируя караван, шедший из Италии в Испанию с заходом на Балеарские острова, а второе – это вот, нынешнее, – в составе конвоя охраняя купеческие суда, двигавшиеся из Картахены на

Оран, а потом – в Неаполь. Обо всем прочем – о пиратской галеоте, за которой погнались мы, выйдя из ордера, о преследовании в виду африканского побережья – я уже поведал вам более или менее подробно. Прибавлю только, что нет, не желторотый птенец, а вполне стреляный воробей был давний ваш знакомец, вдосталь понюхавший пороху и заматеревший к семнадцати годам Иньиго Бальбоа, что купно с капитаном Алатристе и прочими вояками взошел на борт «Мулатки» и сражался с турками, коими в ту пору именовали мы всех подданных Блистательной Порты, будь то собственно турки, или мавры, или мориски, и вообще всякий, кто не под испанским флагом шастал по морям и безобразничал на торговых путях. О том, как именно было это, узнаете вы, господа, из моего повествования, в котором я предполагаю вспомнить времена, когда мы с Диего Алатристе по примеру прошлых лет сражались плечом к плечу, но уже не как хозяин и слуга, а как равные, как боевые товарищи. Расскажу, ни на йоту не прилгнув, единой запятой не упустив, о сражениях и стычках, о корсарах и абордажах, о блаженной поре первой младости, о грабежах и смертоубийствах. Расскажу о том, сколь громко в мои времена – о, в какую дальнюю даль отодвинулись они теперь, когда я убелен сединами и так давно уже изукрашен шрамами! – звучало имя моего любезного отечества, какой страх и трепет наводило оно на всех, кто бороздил моря Леванта. И о том, что нет у дьявола ни рода-племени, ни цвета кожи, ни знамени, под которым он воюет. И еще о том, что для сотворения преисподней на суше ли, на море, нужны-то всего-навсего испанец да клинок у него в руке.

– Хватит, я сказал! – крикнул капитан «Мулатки». – Они денег стоят!

Дон Мануэль Урдемалас был несколько стеснен в средствах и потому не любил лишнего и безосновательного кровопролития. И мы повиновались – не сразу, не все и неохотно. Меня вот, например, капитану Алатристе пришлось придержать за руку, когда я уж совсем было собрался перерезать глотку одному из тех, кто, быв в пылу боя сброшен в воду, теперь вознамеривался влезть на борт. Что говорить, мы еще не остыли, и учиненная нами резня, верно, оказалась недостаточной, чтобы утишить страсть к убийству. Покуда «Мулатка» шла на сближение, турки, у которых, как мы сразу поняли, был превосходный канонир, скорее всего передавшийся врагу португалец, – успели шарахнуть по нам из пушки и двоих убили. И потому уж мы накинулись на них со всей нашей пресловутой испанской яростью, не собираясь никого щадить, вопя во все горло, ошетинаясь короткими пиками и абордажными крючьями, дымя фитилями аркебуз, а гребцы, выбиваясь из сил, под щелканье бича, свистки и перезвон собственных кандалов ворочали тяжеленными веслами, покуда галера, повинувшись их стараниям, не врезалась наискосок в неприятельский парусник, снеся носовую надстройку, где помещался кубрик. Поднаторелый в своем ремесле рулевой доставил нас именно туда, куда следовало: не прошло и минуты, как таран, в щепки переломав весла, въехал прямо в середку правого борта, а три выстрела из носовых пушек, заряженных гвоздями и обрезками жести, как метлой прошлись по вражьей палубе, сметя с нее все живое. Потом, постреляв несколько из аркебуз и камнеметов, первая абордажная команда с криками «Испания и Сантьяго!» по носу перебралась на галеоту и без особых затруднений очистила все пространство от мачты до кормы, рубя и режа и на первых порах не встречая, в сущности, сопротивления. Кто не поспел спрыгнуть за борт, погиб тут же, между скользких от крови гребных скамеек-банок, другие отступили на корму и вот там, надо отдать им должное, дрались отважно и достойно, покуда на мостик, где они засели, не ворвалась вторая абордажная команда. В составе ее были и мы с капитаном: он, сделав пяток выстрелов из аркебузы, бросил ее и вооружился шпагой и круглым щитом, я же в кирасе и шлеме поначалу орудовал своим копьенцом, а затем сменил его на хорошо отточенную секиру, вырванную из рук умирающего турка. И так вот, оберегая друг друга, шаг за шагом, от банки к банке продвигались мы вперед, благоразумно не оставляя за собой никого живого – даже тех, кто

молил о пощаде, – покуда не добрались вместе с остальными до кормы, где тяжело раненный турецкий *канудан* и те, кто еще был на борту, сложили оружие, сдались на милость победителя. Каковой, однако, не получили, потому что раньше надо было думать; с этой же минуты пошла уже натуральная бойня и больше ничего, и потребовался, как я уже сказал, повторный приказ дона Мигеля, чтобы мы, приведенные в бешенство упорным сопротивлением турок – абордаж стоил нам девятерых убитых, включая накрытых удачным пушечным выстрелом, и двенадцати раненых, не считая гребцов-невольников, – перестали наконец рубить, резать и колоть, впрочем, продолжая, как все равно уток, подстреливать из аркебуз барахтавшихся в воде, а тех, кто пытался вскарабкаться на борт, – сбрасывать, невзирая на их жалобные крики, назад ударом весла по голове.

– Ну довольно, – сказал мне Диего Алатристе. – Уймись.

С трудом переводя дух, я взглянул на него: капитан вытирал клинок подобранной с палубы тряпкой – судя по всему, то была размотанная мавританская чалма, – потом вложил шпагу в ножны, не сводя при этом глаз с тех, кто тонул вокруг галеоты или еще плывал неподалеку, опасаясь приблизиться. Вода была не слишком холодна, и они могли бы держаться на плаву довольно долго – разумеется, речь не о раненых, которые, захлебываясь, пуская пузыри, оглашая воздух предсмертными криками и стонами, из последних сил боролись со смертью в покрасневшей от крови воде.

– Это не твоя кровь, так?

Я осмотрел руки, пощупал ноги, провел ладонью по кирасе и радостно убедился, что не получил ни царапины.

– Цел. Все на месте. Как и у вас.

Потом мы оглядели пейзаж после битвы: два еще сцепившихся корабля, груды распотрошенных тел меж гребных скамей, турки – пленные, мертвые, умирающие, а также сколько-то живых, но мокрых, начавших под угрозой аркебуз и копий взбираться на борт, – и наши, уже втихомолку принявшиеся шарить по галеоте. Левантийский бриз сушил чужую кровь у нас на руках и лицах.

– Кажется, мы зря старались, – вздохнул Алатристе.

Да, на этот раз нам не обломилось: галеота, вчера вышедшая из пиратского порта Сале³, еще не успела ничего награть перед тем, как мы заметили ее приближение, так что, если не считать разного тряпья да еще оружия, добычи не было никакой – ничего ценного мы не нашли, хоть и перетряхнули весь корабль от киля до клотика и даже переборки в трюме взломали. И на уплату пресловутой королевской пятины, будь она неладна, не нашлось ни единого дублона. Мне пришлось довольствоваться бурнусом тонкой шерсти – да и тот оспаривать едва ли не на кулаках с кем-то из наших, уверявшим, что заметил его первым, – а капитану Алатристе достался извлеченный из тела убитого клинок с затейливой резьбой на рукояти и отлично заточенным обоюдоострым лезвием дамасской стали. С этими трофеями он и вернулся на «Мулатку», я же, продолжая рыскать по галеоте, отправился поглядеть на пленных. Ибо за неимением иной добычи единственную ценность представляли выжившие турки. По неслыханному везению, среди гребцов не оказалось ни одного христианина, ибо пираты, смотря по обстоятельствам, сами брались то за весла, то за оружие, и когда движимый благоразумием дон Мигель Урдемалас приказал остановить резню, сдавшихся в плен, раненых и выловленных из воды оказалось семьдесят душ. Это означало, что за каждую, смотря по тому, на каком невольничьем рынке станут их продавать, можно выручить от восьмидесяти до ста эскудо. Если вычесть королевскую пятину и долю капитана галеры да разделить полученную сумму на пятьдесят членов команды и семьдесят солдат – почти двести гребцов-каторжан, как и всегда, не в счет, – легко будет убедиться, что сильно-то с этого

³ Город и порт в Марокко, пригород Рабата.

не разживешься, однако кое-что все же получишь, а кое-что – лучше, чем ничего. Всегда и неизменно, господа, следует помнить, на носу себе зарубить: больше выживших – больше прибыль. Ибо вместе с каждым из тех, кто барахтается в воде, пытаюсь вскарабкаться на борт, уйдет на дно тысяча реалов.

– Капудана повесить, – сказал капитан Урдемалас.

Сказал негромко – так, чтобы его слова слышали только комит, прапорщик Муэлас, штурман, сержант Альбадалехо и двое пользующихся особым его доверием солдат, одним из коих был Диего Алатристе. Они держали совет на корме «Мулатки» возле фонаря, поглядывая время от времени на галеоту, все еще насаженную на острие нашего тарана. Весла переломаны, в пробоину поступает вода, так что все сошлись на том, что нет никакого смысла буксировать его: потонет скоро и совершенно неминуемо.

– Он вероотступник, – Урдемалас поскреб бороду. – Испанец родом с Майорки. Некто Боикс. Здесь его звали Юсуф Боча.

– Он ранен, – заметил комит.

– Значит, вздернуть поскорей, пока не подох.

Командир галеры поглядел на солнце, висевшее у самого горизонта. Через час стемнеет, прикинул Алатристе. За это время пленные должны быть закованы и препровождены на борт «Мулатки», а та возьмет курс на ближайший дружественный порт, где их можно будет продать. А сейчас как раз допрашивают, проверяя, на каком языке говорят, какому богу молятся, отделяют христиан от морисков, морисков – от мавров, мавров – от турок. Каждый пиратский корабль – плавающая Вавилонская башня. Нередко, вот как сейчас, встретишь и таких, кто предал свою веру, и еретиков – англичан и голландцев. И в том, что *капудана* надо повесить, согласны были все.

– Готовьте петлю.

Алатристе знал, что иначе и быть не может. Вероотступнику, командовавшему вражеским кораблем, оказавшему сопротивление и повинному в гибели подданных испанского государя, как никому другому впору придется пеньковый воротник, раз и навсегда вылечивающий человека от несварения. Это уж как водится. А уж если он ко всему еще и испанец, то и вообще говорить не о чем.

– Почему его одного? – спросил прапорщик Муэлас. – Здесь есть и другие мориски – помощник капитана и еще четверо, самое малое. Их было больше, но остальные убиты. Или умирают.

– А прочие пленные?

– Вольнонаемные гребцы, мавры из Сале. Есть двое белобрых, сейчас как раз проверяют, обрезанцы они или христиане.

– Ну так вы знаете, как поступить с ними: обрезаны – приковать к веслам, а потом сдать в инквизицию. А не обрезаны – на рею... Сколько у нас убитых?

– Девять, да еще те, кто не дотянет до утра. Это не считая гребцов.

Урдемалас нетерпеливо и с досадой хлопнул ладонью по фонарю.

– Значит, вешать всех шестерых!

Наш капитан был человек дошлый и тертый, несколько грубоватый в обращении, и тридцать лет плаваний по Средиземноморью врезали глубокие морщины в его обветренную, загорелую кожу, посеребрили ему бороду. Он-то знал, как поступать с людьми, которые, закат встречая в Берберии, а рассвет – на испанском берегу, опустошали все, что попадалось под руку, и преспокойно возвращались досыпать домой.

Солдат доложил о чем-то Муэласу, и тот повернулся к капитану:

– Говорит, оба белобрых – обрезаны... Один предатель – француз, другой – из Лиорны.

– К веслам – обоим.

Теперь понятно, почему так яростно сопротивлялась галеота – матросы ее знали, на что идут, и терять им было нечего. Почти все мориски на борту предпочли бы погибнуть в бою, чем сдаться, и тут, по бесстрастному замечанию Муэласа, сказывалось воздействие земли, родившей этих морских псов. Исстари и повсеместно повелось так, что испанские солдаты не оставляли в живых своих отрекшихся от истинной веры земляков, если те командовали пиратскими кораблями, да и рядовых матросов-морисков щадили лишь в том случае, если те попадали к ним в руки без боя: тогда их передавали святейшей инквизиции. Морисков, то есть крещеных, но сомнительных в смысле веры мавров, изгнали из Испании восемнадцать лет назад, после многих кровавых восстаний, лживых обращений, предательств и новых мятежей. Тысячу злосчастий претерпевали они в этом исходе: погибали, лишались всего достояния, видели, как становятся жертвами насилия их жены и дети, а когда добирались до побережья Северной Африки, находили не очень-то радушный прием у своих единоверцев и соплеменников. Обосновавшись наконец в самых пиратских портах – в Алжире, Тунисе, а по большей части – в Сале, расположенных ближе всего к берегам Андалузии, они делались наилютейшими, непримиримейшими врагами нашими – никто не проявлял большей жестокости в стычках на море и при налетах на приморские испанские городки и селения: разоряли их беспощадно, благо, во-первых, знали местность, как собственный двор, каковой она, в сущности, и была, а во-вторых, действовали со вполне понятной и объяснимой злобой людей, явившихся поквитаться и свести старинные счета.

– А тех – повесить, да без лишнего шума, – посоветовал Урдемалас. – Чтобы переполох среди пленных не поднялся. Вздернуть после того, как все уже будут в кандалах.

– Невыгодно, сеньор капитан, – возразил комит, въяве представив, как повиснут на реях еще сколько-то тысяч реалов. – Прямой убыток.

Комит, который по части скарעדности мог перещеголять и своего капитана, был наделен отталкивающей наружностью и еще более омерзительными душевными свойствами и, стакнувшись с корабельным профосом, умудрялся получать дополнительный доход, делая – не безвозмездно – различные послабления и поблажки гребцам.

– Мне плевать на ваши деньги, – ответил Урдемалас, испепелив его взглядом. – И на тех, кто мог бы вам их добыть.

Комит, зная, что с капитаном шутки плохи, а перечить ему – дело дохлое, пожал плечами и удалился, громким голосом требуя у подкомита и профоса веревок. Оба они были в это время заняты тем, что расковывали погибших в ходе боя гребцов – четверых мавров-невольников, голландца и троих испанцев, сосланных на галеры по приговору суда, – чтобы сбросить их тела в море, а освободившиеся цепи надеть на пленных. Еще с полдюжины гребцов в ручных и ножных кандалах жалобно стенали на окровавленных банках, ожидая, когда ими займется наш цирюльник, исполнявший на «Мулатке» обязанности судового лекаря и хирурга и любую рану, сколь бы ни была она ужасна, лечивший, как водится на галерах, уксусом и солью.

Тут Диего Алатристе встретился глазами с Мануэлем Урдемаласом.

– Двое морисков – почти дети, – промолвил мой хозяин.

И это была сущая правда. В тот миг, когда *капудан* упал раненным, Алатристе заметил двоих юнцов – они скорчились меж кормовых банок, пытаясь укрыться от разящей стали. Заметил – и самолично отвел в сторонку, чтобы им в горячке боя не перерезали горло.

Урдемалас скорчил злобную гримасу:

– Что это значит – «дети»?

– То и значит.

– Родились в Испании?

– Понятия не имею.

- Обрезаны?
- Скорей всего.

Моряк выбранился себе под нос, не сводя глаз с собеседника. Потом обернулся к сержанту Альбадалехо:

– Займитесь-ка ими. Осмотрите у них оснастку. Есть волосы на лобке – значит, как Бог свят, есть и шея, за которую можно вешать. Нет – значит, сажай на весла.

Сержант без особой охоты побрел по настилу гребной палубы к захваченной галеоте. Заголять мальчишек, чтобы убедиться, что они уже созрели для петли, было во всех смыслах слова срамное дело, однако против рожна, как известно, не попрешь. Капитан меж тем продолжал сверлить Алатристе пытливым взглядом, словно пытаюсь понять, не кроется ли чего-нибудь за этим его заступничеством. Дети они или не дети, в Испании родились или нет – кстати, последние мориски, жители долины Рикоте в Мурсии, покинули нашу отчизну в 1614 году – для Урдемаласа, как и для почти всех испанцев, в любом случае речь о жалости и сострадании не шла. Двух месяцев еще не минуло с того дня, как пираты высадились на побережье Альмерии, угнали в рабство семьдесят четыре человека из одной приморской деревни, саму ее разграбили дочиста, алькальда же и еще одиннадцать жителей, поименованных в некоем списке, – распяли. Женщина, которой удалось где-то спрятаться от расправы, уверяла потом, что в числе разбойников были и мориски, некогда обитавшие в этой деревне.

Так что на этом средиземноморском перекрестке, где, кипя в котле застарелой ненависти, смешалось столько племен и наречий, давние счеты были у всех со всеми. Что касается собственно морисков, для которых родными были каждая тропинка и любой уголок в тех местах, куда они возвращались для мести, то об этом их неоспоримом преимуществе дон Мигель де Сервантес, не понаслышке знакомый с пиратами, ибо и сражался с ними, и в плену у них сидел, писал сравнительно недавно в своих «Алжирских нравах»⁴:

Рожденный и возросший в сем краю,
Все выходы я знаю здесь, все выходы,
А супостат найдет в нем в смерть свою...

– Вы, сдастся мне, бывали в тех местах, не правда ли? – настойчиво спросил Урдемалас. – В Валенсии, в шестьсот девятом?

Алатристе кивнул. В замкнутом пространстве галеры тайны недолго остаются тайнами. У него с Урдемаласом были общие друзья, а сам он благодаря боевому опыту занимал несколько особое положение и фактически исполнял капральские обязанности. Они относились друг к другу с уважением, но табачок, как говорится, держали врозь.

– Ходили слухи, – продолжал Урдемалас, – будто помогали приструнить малость тамошний народец?

– Помогал, – ответил Алатристе.

Можно и так сказать, подумал он. Схватки и стычки, скалистые отроги и кручи, палящий зной, засады, ловушки, убийства из-за угла, казни. Беспрецедентная жестокость с обеих противоборствующих сторон, а между ними – несчастные мирные жители, христиане и мориски, которым, как оно всегда и бывает, приходилось платить за разбитые горшки. Насилия, кровопролития, бесчинства – и страдают опять же они. А потом – длинные вереницы этих бедолаг, бросивших свои дома, продавших за бесценок все, что нельзя унести с собой, влекутся по дорогам, а их преследуют, грабят все кому не лень – и местные крестьяне, и сами

⁴ Отсылка к одноименной пьесе М. Сервантеса, который на обратном пути в Испанию попал в алжирский плен, где провел 5 лет (1575–1780), четырежды пытался бежать и лишь чудом не был казнен. Выкуплен монахами-тринитариями.

солдаты, из которых многие даже дезертировали, чтобы предаться этому делу без помехи. Потом всходят на корабли, увозящие их на чужбину, где, как сказал Гаспар Агиляр:

...кровного лишившись достоянья,
На нищенство они обречены...

– Клянусь честью, – промолвил капитан Урдемалас, улыбнувшись не без лукавства, – вы не больно-то гордитесь своей службой Богу и королю?

Алатристе пристально взглянул на собеседника. Потом медленно провел двумя пальцами левой руки вдоль усов, приглаживая их.

– Вы, сеньор капитан, разумеете то, что было сегодня или же относящееся к девятому году?

Сказано это было очень отчетливо и холодно, хотя и совсем негромко. Урдемалас беспокойно переглянулся с Муэласом, своим помощником и вторым капралом.

– По поводу сегодняшнего дела мне сказать нечего, – ответил он, всматриваясь в лицо Алатристе так внимательно, будто задался целью пересчитать все его шрамы. – Будь у меня под началом десятеро таких, как ваша милость, мы за одну ночь взяли бы Алжир. Разве что...

Алатристе, пропустив мимо ушей похвалу, продолжал гладить усы:

– «Разве что» – что?

– Ну... – пожал плечами Урдемалас. – Мы здесь все свои, и все про всех все знают. Поговаривают, вам не нравилось то, что было в Валенсии... И будто бы вместе с вашей шпагой вы передались противной стороне.

– А вы, сеньор капитан, имеете на сей счет личное мнение?

Урдемалас следил за движениями левой руки Алатристе, оставившей усы в покое и упершейся в бок, совсем рядом с эфесом шпаги – помятым и исцарапанным ударами чужих клинков. Моряк был человек неробкий, и все это знали. Но слухами не только земля полнится, но и море, а молва об Алатристе как о человеке весьма опасного свойства впереди его бежала и опередила его появление на «Мулатке». Мало ли, конечно, что о ком говорят, можно и пренебречь. Однако в этот миг, наблюдая за ним и за его руками, самый несмышленный юнга поверил бы, что люди зря не скажут. И Урдемалас знал это лучше, чем кто-либо еще.

– Нет, – отвечал он. – Не имею. Каждый человек – это целый мир... Но что говорят, то говорят.

Он произнес это твердым голосом, искренним тоном, и Алатристе минуту раздумывал. Но ни к сути этого высказывания, ни к форме, эту суть облакавшую, нельзя было предъявить никаких претензий. Командир галеры был умен. И осмотрителен.

– Ну и пусть себе говорят, – уступил Алатристе.

Прапорщик Муэлас счел за благо высказаться в ином ключе.

– Я из Вехера, – сказал он. – И отлично помню, что творили в наших краях турки, ведомые местными морисками, которые говорили им, когда и откуда напасть, чтобы застать нас врасплох... Соседский мальчонка погонит, бывало, коз на выпас или, скажем, с отцом порыбачить, а утро встретит уже где-нибудь в подвале у берберов. Может, стал таким, как эти, на галеоте... от святой веры отступился. Может, в содомита его превратили... Они детей насиловали... Про женщин уж я не говорю.

Помощник и второй капрал угрюмо закивали. Оба слишком даже хорошо знали, как люди строили дома где-нибудь в горах повыше, подальше от береговой полосы, чтобы убежать от берберийских пиратов, налетавших с моря, как жили в вечном страхе перед набегам морских разбойников и их сухопутных единоверцев, помнили о кровавых мятежах морисков, не желавших признавать королевскую власть и принимать крещение, славших тайные просьбы о помощи во Францию, лютеранам и туркам с тем, чтобы подготовить

общее восстание. После проигранных в Гранаде и Альпухарре войн, после того, как провалились все попытки Филиппа Третьего расселить их по другим провинциям и обратить в христианство, на весьма уязвимых берегах Андалузии собралось триста тысяч морисков – колоссальная цифра для страны с населением в девять миллионов – непокорных, упрямых, лишь формально принявших католичество, гордых, как подобает испанцам, коими они, как ни крути, и были, денно и ночью мечтавших вернуть себе утерянную свободу и независимость, изо всех сил сопротивлявшихся намерению влить их в единую испанскую нацию, выплавленную столетие назад, что, кстати, развязало жесточайшую войну на всех границах нашего королевства, ибо разом ополчились на нас движимые алчной завистью Англия и Франция, еретики-протестанты и необозримая в ту пору могучая турецкая держава, она же – Блистательная Оттоманская Порты. И потому, пока не решено было окончательно изгнать морисков из пределов нашего королевства, этот, по-ученому говоря, анклав являл собою кинжал, готовый вонзиться в спину Испании, повелевавшей полумиром, а с другой половиной находившейся в состоянии войны.

– Сущее бедствие было, – продолжал меж тем Муэлас свой рассказ. – От Валенсии до Гибралтара мы, старые христиане, оказались будто в клещах: с моря – пираты, со стороны гор – мориски. А кто, как не они, раскладывал сигнальные костры по ночам, кто пристани устраивал, чтоб удобно было причалить, высадиться да начать грабеж, а уж на какие только ни шли они увертки и отговорки, чтобы не есть свинину...

Диего Алатристе качнул головой. Не все было так, и он это знал.

– Случалось мне встречать среди них и людей, искренно обратившихся в истинную веру, верноподанных нашего короля. Один такой служил у нас во Фландрии в полку... Да и вообще это работающий, трудолюбивый народ. Среди них нет идальго, проходимцев, монахов, нищих-попрошак... И тем они с самого начала отличны были от испанцев.

Все воззрились на него, и повисло довольно продолжительное молчание. Потом прапорщик, отгрызя и выплюнув за борт кусочек ногтя, высказался так:

– Этих достоинств, пожалуй, маловато будет. Непременно следовало покончить с постоянным источником смуты. Вот, с Божьей помощью, и покончили.

Алатристе подумал, что на самом деле ничего еще не кончилось. Глухая междуособная война, на которой одни испанцы убивали других, продолжалась – только иными средствами и в других местах. Кое-кому из морисков – очень, впрочем, немногим – удалось впоследствии и тайно вернуться в отчий край, с помощью соседей обосноваться там. Остальные же, изгнанные из Гранады и Андалузии, из Арагона, Кастилии и Валенсии, унесли свою злобу и тоску по утраченной родине в пиратские города Берберии, сильно поспособствовав укреплению Оттоманской Порты и городов на севере Африки, благо превосходно знали многие ремесла, а также в совершенстве владели навыками и умениями, потребными для морского разбоя, так что в их лице приобрел мавританский флот многих опытных и дельных мореходов – капитанов и судоводителей. Плавали стрелками-аркебузирами на галерах и галеонах – на каждом захваченном пиратском корабле обнаруживалось их обычно не менее дюжины, – оказывались прирожденными лоцманами, ибо умели пристать к берегу точно в тех местах, что намечены были для налета и ограбления, были искусными корабелями, оружейниками, пороховщиками, не знали себе равных в работоторговле. Клокотавшие в них ненависть и жажда мести в сочетании с высоким воинским мастерством и решимостью сражаться, пощады не давая и не прося, делали их лучшими бойцами на всем турецком флоте, так что разбавленные ими экипажи ценились выше тех, что набирались из одних мавров. Никто не мог превзойти их в жестокости, никто не обращался с пленными беспощадней, и, одним словом, на средиземноморском театре не было у Испании врагов злейших, нежели мориски.

– Так или иначе, надо отдать им должное, – заметил помощник. – Дерутся, сволочи, как звери.

Алатристе обвел взглядом пространство вокруг галеры и галеоты. Убитые уже все пошли ко дну. Лишь некоторые, благодаря тому, что воздух остался в легких или раздул одежду, еще покачивались, раскинув руки, на тихой воде. В такие минуты едва ли кто – и уж точно не он – вздумал бы усомниться, что изгнание диктовалось суровой необходимостью. Такие уж времена. Ни Испания, ни Европа, ни весь прочий мир не склонны деликатничать и чистоплюйствовать. Алатристе, однако, не давало покоя то, как производили это самое изгнание – как причудливо сочеталось тут холодное чиновничье безразличие с хамоватой солдатской бесцеремонностью, как полно раскрылась тут низменная природа человека. Вспомнилось, что дон Педро де Толедо, командовавший галерным флотом Испании, писал королю: «...представляется необходимым лишить их возможности забирать с собою столько денег, ибо многие уходят очень охотно». И потому в лето от Рождества Христова тысяча шестьсот десятое двадцативосьмилетний солдат Диего Алатристе, ветеран Картагенского полка, переброшенного из Фландрии как раз для подавления мятежных морисков, подал рапорт о переводе в Неаполитанский полк, чтобы драться с турками в Восточном Средиземноморье. И сказал, что если уж резать мусульман – то лишь тех, которые способны защищаться. И вот судьба распорядилась так, что почти двадцать лет спустя вновь довелось ему продолжить это почтенное занятие.

– Ничего, бивал я их и в шестьсот десятом году, и в одиннадцатом, между Денией и побережьем Орана, – заметил капитан Урдемалас. – Собак этих.

Насчет собак сказано было с большим нажимом. Затем капитан очень внимательно воззрился на Диего Алатристе, будто желая проникнуть взглядом в самую его душу.

– Собак... – задумчиво повторил тот.

Ему вспомнились вереницы скованных мятежников, бредущих на рудники Альмадены, где добывали ртуть и откуда никто не возвращался живым. И старик-мориск из валенсианской деревушки – ему единственному власти, снисходя к его дряхлости и хворям, разрешили остаться, да, видно, не в добрый час: вслед за тем его насмерть забили камнями местные мальчишки, причем никто из соседей и даже приходской священник не подумали вступить и остановить расправу.

– Если и собаки, то – разных пород, – договорил он.

И, горько улыбнувшись, с отсутствующим видом уперся светло-зеленым льдистым взглядом в глаза капитана Урдемаласа. И по выражению его лица понял – тому не понравились ни взгляд этот, ни улыбка. Но понял также и то, благо умел с первого взгляда оценить всякого, кто стоял перед ним, что Урдемалас остережется высказывать свое неудовольствие вслух. В конце концов, и с формальной точки зрения здесь никто никому не нанес обиды. Что же до всего остального и последующего, то ведь свет клином не сошелся на этой галере, где суровая корабельная дисциплина запрещает выяснять отношения с глазу на глаз, с оружием в руках. Много на свете портов, а в портах не счесть темных и безлюдных переулков, уединенных пустырей, где как-нибудь безлунной ночью Урдемалас, не имея иной защиты, кроме своей шпаги, сможет получить пядь отточенной стали куда-нибудь между грудью и спиной, да так, что даже «Иисусе!» вскрикнуть не успеет. И потому, когда взгляд и улыбка Алатристе задержались до степени вызывающей, а рука, будто по рассеянности, легла на эфес шпаги, капитан Урдемалас отвел глаза и стал смотреть на море.

II. Сто копий – в оран

Когда пиратская галеота затонула, я оглянулся. В последнем, меркнушем свете дня виднелись пять безжизненных тел, покачивавшихся на реях над самой поверхностью темной воды, что будто грозила вот-вот поглотить их, – тела капудана, его помощника и трех морисков, среди которых был и тот юнец, у кого прапорщик Муэлас обнаружил поросль на лобке. Второго, помладше и, выходит, посчастливее, посадили на весла вместе с другими пленными, и они теперь, прикованные к банкам, гребли или – опять же в цепях – ожидали своей очереди в трюме. Что же касается штурмана-мориска, оказавшегося родом из Валенсии, то он, уже с петлей на шее, стал клясться на хорошем испанском языке: мол, хоть и покинул Испанию в детстве, но неизменно оставался верен своему обращению и всегда жил, как подобает доброму католику, столь же чуждому поклонникам пророка, как тот христианин, что воскликнул когда-то в Оране:

Не клял Христа, не славил Магомета.
А что пришлось носить бурнус с чалмой —
Мне лишь за тем потребовалось это,
Чтоб дальний замысел исполнить мой.

– ...Обрезание же, поверьте, было чистойшей проформой: без этого, а верней сказать – с этим, не прожить ни в Алжире, ни в Сале. – На что капитан Урдемалас, очень развеселившись, отвечал в том смысле, что если ты христианином был и остаешься, то, значит, и смерть прими, как ему подобает. И, поскольку капеллана у нас на галере не имеется, прочти, будь добр, по разу «Верую» и «Отче наш», ну и еще что-нибудь по своему усмотрению, чтобы с чистой совестью переселиться в мир иной, а для исполнения долга твоего будет тебе предоставлено известное, пусть и малое, время перед тем, как петля захлестнет горло. Мориск принял рекомендацию капитана Урдемаласа в дурную сторону и страшной матерщиной покрыл Господа нашего Иисуса Христа и Пречистую Деву, но теперь уж не столько на правильном кастильском языке, сколько на том бытующем в Берберии наречии, что именуется *лингва-франка*⁵, и приправил свое богохульство отборной валенсианской бранью, причем остановился только раз, набрать воздуха, но и передышку эту использовал, чтобы харкнуть смачно и метко прямо на сапог Урдемаласу, отчего капитан распорядился провести экзекуцию по сокращенному варианту, то есть без «господи-помилуй» и без «господа-душу-мать», и мориск со связанными за спиной руками задергался на рее, не облегчив душу свою молитвой, а бранью – не отведя. Раненых же корсаров, не разбирая, мориски они или нет, сбросили без долгих слов в море. Но одного из тех, кто заслуживал именно петли, повесить не смогли. Он был ранен в шею, однако оставался на ногах: разрез в полпяди шириной чудом каким-то не затронул артерию, и потому бедняга не истек кровью, да и вообще, если смотреть на него с другого боку, был, конечно, мертвенно-бледен, но свеж, как только сорванный с грядки салат-латук, коим я тщусь заменить в сем случае избитое слово «огурчик». По мнению профоса, повесишь его – голова оторвется, и зрелище выйдет совершенно непотребное. Окинув пленного взглядом, капитан согласился с этим, и беднягу, скрутив ему руки, столкнули за борт, как и всех прочих.

⁵ Смешанный язык, сложившийся в Средние века в Средиземноморье и служивший главным образом для общения арабских и турецких купцов с европейцами (которых на Ближнем Востоке называли франками). Основой его была итальянская и провансальская лексика, к которой добавились слова из испанского, греческого, арабского, персидского и турецкого языков.

Дул слабый норд-ост, луна не выкатилась на небо, зато звезд было в избытке, когда я почти ощупью отправился искать капитана Алатристе. На заполненной людьми палубе – язык не поворачивается сказать «вонючей», поскольку я сам, вдосталь пропитавшись разнообразными дурными запахами, щедро источал их, – солдаты и моряки, получив розданные им соленую рыбу и толику вина для восстановления сил, отдыхали после боя, покуда гребная команда, бросив весла и доверив заботы о продвижении корабля попутному ветру, закусывала вымоченными в масле и уксусе сухарями; звучали тихие беседы и громкие стоны раненых и ушибленных. Слышно было, как кто-то напевает, побрякивая в такт цепями и похлопывая ладонями по обитым кожей банкам:

Христианская галера,
это что еще за зверь?
Задних лап – в помине нету,
а передних – сотни две.

В общем, ночь ничем не отличалась от всех прочих. «Мулатка» медленно подвигалась в темноте, держа курс на юг, и колыхание надутых парусов, огромными светлыми пятнами нависавших над палубой, то скрывало от наших глаз усыпанное звездами небо, то вновь его нам являло. Хозяина своего я нашел на корме по левому борту, возле такелажной кладовой. Алатристе стоял неподвижно, облокотясь о фальшборт, и смотрел на темное небо и море, которые на западе еще слабенько отсвечивали красным. Мы перекинулись с ним несколькими словами насчет давешнего боя, а потом я спросил, верны ли гулявшие по судну слухи, что, мол, назад пойдем не в Мелилью, а в Оран.

– Урдемалас не хочет далеко забираться в открытое море с таким грузом на борту, – отвечал капитан. – Предпочитает зайти в ближайший порт да продать пленных. Так будет спокойнее.

– И выгоднее! – весело подхватил я, ибо, как и все на галере, произвел подсчеты, из которых получалось, что минувший день принес двести эскудо самое малое.

Алатристе пошевелился. Из ночной тьмы тянуло холодом, и по шороху я догадался, что капитан застегивает колет.

– Губы-то не раскатывай, – посоветовал он. – В Мелилье за рабов платят хуже... Однако до нее рукой подать, а до Орана – сорок лиг. Мы ведь в одиночном плаванье, вот Урдемалас и опасается нарваться на неприятную встречу.

В Мелилье мне прежде бывать не доводилось, и я обрадовался новым впечатлениям, однако Алатристе и здесь остудил мой пыл, рассказав, что городок этот – всего лишь маленькая крепость на оконечности скалистого мыса, где несколько домиков лепятся к склону огромной горы Гуругу, а жители не расстаются с оружием, ибо окружены, как и все испанские анклавны на африканском побережье, враждебными арабскими племенами. Для просвещения досужих читателей поясню, что арабами именовались в ту пору оседлые или кочевые, но одинаково воинственные и вероломные мавры, жившие за городской чертой, которых вместе с обитавшими внутри ее называли мы берберами, чтобы отличить от турок из Турции, в большом количестве то наезжавших из Константинополя, то возвращавшихся туда. Там правил Великий Турок, сиречь султан, более или менее верными вассалами коего в большей или меньшей степени, зависевшей от постоянно меняющейся обстановки, были все они; потому-то для краткости звали мы всех, кто наведывался на наши берега, турками, независимо от того, принадлежали они к этой нации или же нет. Так и говорили: «Интересно, высадится в этом году турок или нет?» – или: «Любопытно, турецкая это фелюга или еще чья?» – хотя судно могло быть приписано к порту Сале или Туниса, а не Анатолии. Здесь уместно будет упомянуть о том, что корабли всех стран мира, ведя оживленнейшую торговлю, прибы-

вали ежечасно в густонаселенные пиратские города, где, oprичь местных жителей, равно как и морисков, иудеев, вероотступников, а также мореходов и купцов всех наций и государств, обитало и бесчисленное множество христиан-рабов – за подробностями отсылаю вас к Сервантесу, Херонимо де Пасамонте⁶ и прочим неоспоримо авторитетным авторам, которые знакомы были с невольничьей долей не понаслышке. И прошу досточтимых читателей принять во внимание, сколь сложен и замысловат был мир, расположившийся по берегам этого внутреннего моря, представлявшего собою естественную границу Испании с юга и востока, это двоясмысленное, подвижное, опасное, беспрестанно менявшее очертания пространство, где с нами перемешивались различные расы, выступая за или против нас, становясь либо противниками, либо союзниками в зависимости от того, какая дробь выбивалась на заплятанной барабанной шкуре. Справедливости ради отмечу, что не в пример Англии, Франции, Голландии и Венеции, которые якшались с Турцией и даже объединялись с нею против других христианских народов – и прежде всего против Испании, когда это казалось им уместным, а казалось почти всегда, – мы, сколько бы ошибок ни наляпали, в каких бы противоречиях ни вязли, неуклонно отстаивали чистоту истинной веры, не поступаясь ни единой буквой Священного Писания. И, в надменном сознании своего могущества без меры и счета тратили деньги и проливали кровь, покуда не надорвались в полуторастолетней войне, которую в Европе вели против последышей Лютера и Кальвина, а на средиземноморских берегах – с приверженцами пророка Магомета. За взятием Лараче последовало спустя четыре года и падение Маморы. Две берберийские твердыни, как и все прочие, достались нам большой кровью, ценой огромных жертв, удерживались с невероятным трудом, а потом, к стыду нашему, были потеряны из-за извечной нашей расхлябанности и всегдашнего невезения. Ах, и в этом случае, как и почти во всех остальных, стоило бы нам уподобиться другим народам, то есть печься о процветании ревностнее, нежели о репутации, расширять нами же открытые горизонты, вместо того чтобы припадать к зловещим сутанам королевских духовников, дрожать над привилегиями, даруемыми кровью и родом, славить не труд, к коему никогда у нас не было ни влечения, ни склонности, но шпагу и крест, от которых угас светоч нашего разума, сгнили и сгнули отчизна и душа. Но ведь никто не дал нам права выбора. Что ж, по крайней мере, к вящему изумлению Истории, мы, горсточка испанцев, отбиваясь до последнего, сумели сделать так, что мир очень дорого заплатил за свои притязания. Вы, господа, скажете, пожалуй, что это слабое утешение, скажете – и будете, несомненно, правы. Но мы всего лишь делали то, чему были обучены, исполняли нашу должность, думать не думая о властях, о философиях, о богословских тонкостях. Да чёрта ли нам в них?! Мы были солдаты.

Вот угас последний красноватый отблеск у черного горизонта. И небо от моря отличить можно было только по густой россыпи звезд, под которыми в полнейшей тьме плыла наша галера, подгоняемая восточным ветром, ведомая искусством рулевого, который держал курс на звезду, указующую, где север, или время от времени открывал ящичек – богопротивные голландцы именуют его «нактоуз», – где слабый огонек освещал стрелку компбса. Позади, у грот-мачты, кто-то спросил капитана Урдемаласа, не зажечь ли кормовой фонарь, на что последовал ответ – тому, кто, мол, выбьет кресалом хотя бы малую искру, он, капитан, лично выбьет мозги.

– А насчет солдатского богатства, – заговорил вдруг Алатристе, словно вздумал вдруг ответить на мои слова, – я, признаться тебе, ни разу не видел, чтобы оно приваливало к

⁶ Херонимо де Пасамонте (1553 – ок. 1604) вместе с Сервантесом участвовал в сражении при Лепанто (1571), а потом провел 18 лет в плену и, вернувшись в Испанию, описал свою жизнь. При этом он присвоил себе некоторые факты из военной биографии Сервантеса, который также несколько лет был в рабстве у алжирских пиратов.

кому-нибудь надолго. Все в распыл идет – на пропой души, на игру, на баб... Да ты сам это отлично знаешь.

И воцарившееся молчание было довольно красноречиво. Достаточно кратко, чтобы эти слова не звучали упреком, и достаточно продолжительно, чтобы укоризна все же чувствовалась. А я и в самом деле отлично знал, о чем речь. Мы были вместе уже почти пять лет и уже семь месяцев провели в Неаполе и на галерах, так что у друга моего отца был случай заметить во мне кое-какие перемены. И не только телесные, хоть я уже догнал его ростом и был, кстати, хоть и худощав, но строен, с сильными руками, крепкими ногами и довольно приятным лицом, – нет, я имею в виду перемены другие, более сложные и потаенные. Я знал, что капитан никогда не желал, чтобы будущность моя была связана с военной службой, а потому при помощи друзей своих, дона Франсиско де Кеведо и преподобного Переса, старался сизмальства приохотить меня к чтению хороших книг и к переводам с латинского и греческого. Пером, часто повторял он, дотянешься дальше, чем шпагой; и перед тем, кто поднаторел в литературе и юриспруденции да еще сумел занять прочное положение при дворе, откроется путь попривлекательнее, нежели у профессионального вояки. Однако пересилить природную мою склонность оказалось невозможно, и, хотя благодаря его усилиям, удалось все же привить мне вкус к словесности – так что спустя столько лет, кажущихся ныне столетиями, я и сам взялся за сочинительство, заноса на бумагу нашу с капитаном историю, – но родовое начало, передавшееся мне, по всей видимости, от отца, что сложил голову во Фландрии, равно как и годы, проведенные бок о бок с Диего Алатристе, беспокойную и опасную жизнь которого начал я делить с тринадцати лет, предопределили мою судьбу. Я хотел быть солдатом, и наконец стал им, и предавался марсовым, так сказать, утехам со всем пылом необузданной младости.

– Баб у нас на галере не имеется, вино преотвратное, да и того мало, – отвечал я, слегка уязвленный. – Так что зря вы это, обидно слушать... Ну а насчет игры... У меня, сами знаете, в кармане – вошь, а на аркане – блоха...

Вошь, кстати, упомянута была не для красного словца. Капитан Урдемалас, утомясь от бесконечных потасовок и прочего мордобоя, объявил карты и кости на борту вне закона, а тех, кто пренебрежет запретом, пообещал заковычивать в цепи. Однако голь на выдумки хитра, или, как говорят в наших краях, кобыла смыслит больше кучера, а потому моряки и солдаты изобрели новую игру: мелом вычерчивали на дощатом столе несколько кружков, в центр сажали уловленную вошку – одну из того множества, что в буквальном смысле ели нас поедом, – и делали ставки на то, куда именно она поползет.

– Вот когда вернемся в Неаполь, видно будет, – досказал я.

И поглядел на капитана краем глаза, ожидая какой-нибудь ответной реплики, однако темная фигура, рядом и вместе со мной чуть покачивавшаяся на шаткой палубе, оставалась безмолвна и неподвижна. Дело все было в том, что еще некоторое время назад капитан понял: как ни старайся оберечь и защитить своего питомца, не получается его оградить от кое-каких предосудительных сторон военной жизни, не говоря уж об опасностях, прямо с нею связанных, ибо за годы, протекшие с тех пор, как моя бедная матушка прислала меня в Мадрид под опеку Диего Алатристе, я несколько раз ввязывался в его сомнительные предприятия, или, если угодно, темные дела, очень сильно рискуя и свободой, и самой жизнью. Теперь я был – ну или должен был вот-вот стать – сложившейся личностью. И если капитан иногда решал вразумить меня добрым советом – а ведь вы, господа, помните, верно, что он относился к тому сорту людей, которые отдают безоговорочное предпочтение делам, а не словам, – то они во мне должного и сочувственного отклика не находили, ибо я считал, что превзошел всю житейскую премудрость и мне море по колено. Осознав тщету своих наставлений, капитан, как человек безмерно опытный, дальновидный, предусмотрительный и любящий меня, вместо того чтобы читать мне морали, просто-напросто старался оказы-

ваться рядом всякий раз, как считал это необходимым. Власть же свою употреблять – а он, видит Бог, делал это превосходно – лишь в самых крайних случаях.

Допускаю, что в отношении женщин, вина и карт были у него кое-какие основания досадовать на меня. Жалованье свое, составлявшее четыре эскудо в месяц, равно как и деньги, добытые в предыдущих предприятиях, когда атаковали в заливе Майна два турецких трехпалубных *купца*, провели прелестный денек на побережье Туниса, взяли, что называется, «на шпагу» парусник у мыса Пахаро и галеру, севшую на мель у Санта-Марии, тратил я до последнего грошика, поступая в сем случае в полнейшем соответствии с установившимися среди нашего брата правилами и без малейших отличий от того, как вел себя в пору своей юности капитан Алатристе, что он и сам пусть неохотно, но признавал. Правда, надо сказать, что жажда новых ощущений не давала мне покоя. Ибо для здорового парня моих лет, к тому же испанца, Неаполь, мировой перекресток, был истинным раем на земле: отличные трактиры, лучшие на свете таверны, роскошные девки – было, одним словом, на что солдату порастрасти мошну. Кроме всего прочего, судьба, словно бы для того, чтобы еще больше окрылить меня, подгадала так, что там же оказался в ту пору Хайме Корреас, мой собрат по ремеслу мочилеро, с которым проделали мы всю фламандскую кампанию двадцать пятого года. Он уже прослужил в Италии достаточно, чтобы приобщиться в полной мере ко всем ее злачным местам. О нем речь у нас будет впереди, а сейчас скажу лишь, что большую часть зимы, покуда разоруженные галеры стояли на ремонте, я, как ни супил брови капитан Алатристе, провел в обществе Хайме и в удалых набегах на таверны и игорные дома, не пренебрегая и домами веселыми – впрочем, тут я все же усердствовал не слишком. И дело было не в том, что бывший мой хозяин лицемерил или был святее папы римского, – вот уж нет, совсем, как вы знаете, наоборот, однако азартные игры, досуха выдоившие столько солдатских кошельков, никогда его не привлекали. Что же касается иных увеселений, то мастерицы нескучного досуга, которых он иной раз посещал – хоть никогда не нуждался в покупном корме, ибо неизменно умел устроиться так, чтобы пощипать на тучных лугах сочную даровую травку, – были все наперечет и вполне надежны. Ну, зато, правда, Бахусову пороку предавался капитан так, словно вырвался из адского пекла, где истомился неутолимой жаждой. Но, хотя он нередко напивался допьяна, особенно в те дни, когда дух его был омрачен печалью или гневом, – тут, кстати сказать, делался он особенно опасен, ибо вино не притупляло его чувств и не влияло, сколько ни вливай, на твердость руки и проворство, – однако неизменно совершал это в полнейшем одиночестве и без свидетелей. И, я полагаю, побуждали его опорожнять одну бутылку за другой не столько приятные ощущения, сколько желание утопить в вине каких-то гнездящихся в душе и когтящих ее демонов, никому, кроме Господа нашего и самого капитана, не ведомых.

С первыми рассветными лучами наша галера бросила якорь у стен Мелильи, испанской крепости, отбитой у мавров сто тридцать лет назад, причем стала не в лагуне, а с внешней стороны, в бухточке, и не на якорь стали, а пришвартовались к берегу, и, короче говоря, сделав все, чтобы оказаться под защитой высоченных крепостных башен и стен. Внушительный облик города оказался, впрочем, совершенной мнимостью, в чем, покуда капитан Урдемалас уточнял стоимость пленных, убедились мы, пройдя вдоль стен и по узеньким улочкам, где не было ни единого деревца. Всюду чувствовались заброс и запустение. Восемь веков изнурительной борьбы с исламом умирали на этой убогой границе. Поток золота и серебра из Индий лился мимо, сюда не попадало ни грошика. Все уходило в лапы генуэзских банкиров, если не перехватывалось на штормовых торговых путях англичанами и голландцами – дай им Бог сдохнуть без покаяния! Ныне все августейшие помыслы устремлены были к Фландрии да Индиям, африканские же наши затеи, некогда столь милые сердцу великого императора Карла и наследовавших ему католических государей, утратили всякую привле-

кательность в глазах четвертого Филиппа и его фаворита, графа-герцога Оливареса, причем до такой степени утратили, что об этом сложена была даже язвительная сатира, распространенная в списках без имени автора:

...Плевать, что втуне сгинут все усилия
И черный час придет для христиан,
Как только мавр оттяпает Оран,
И за Сеутой вслед падет Мелилья, —

Когда у андалузских берегов,
К нам искони кипящих злобой дикой,
Услышишь плеск турецкого весла —

С кем станешь отбивать тогда врагов?
Витиза нет среди нас, нет Родерика,
А Юлианам подлым – нет числа⁷

Но, хоть стихами говори, хоть прозой, дело было в том, что крепости на побережье Северной Африки держались просто чудом и спасала их скорее былая слава, нежели что-либо иное, и пираты, хоть и лишились из-за них доступа к некоторым портам и опорным пунктам, жили себе не тужили в Алжире, Тунисе, Сале, Триполи или в Бизерте. И запертые в этом каменном мешке, чьи казематы и бастионы ветшали и разрушались из-за того, что не на что было их восстанавливать, наши солдаты, в большинстве своем – израненные и покалеченные ветераны, давным-давно выслужившие себе отставку и покой, – вместе с семьями своими ходили оборванцами и влачили полуголодное существование – ибо тут не было и клочка земли, чтобы вырастить на ней что-нибудь, – со всех сторон окруженные врагами, а какая бы то ни было помощь могла прийти только с Полуострова, а до него, прикиньте, день – ну, может, чуть меньше – пути по морю. И придет она не вдруг: это зависит от состояния моря и от расторопности тех, кому в Испании по должности полагается помощь эту оказывать. Так что Мелилья, как и прочие наши африканские владения, включая Танжер и Сеуту, о которых португальцы с полным правом могли сказать: «Были наши – стали ваши»⁸, рассчитывать могла только на отвагу своего гарнизона да на более-менее мирные отношения с сопредельными маврами, то выторговывая у них, то добывая силой необходимые припасы. Много из всего этого я понял, обойдя город и поглядев на источники пресной воды, от которых зависела здесь вся жизнь. Побывал в лазарете, в церкви, в подземной галерее Санта-Ана и на том рыночке за крепостной стеной, куда из окрестных мавританских селений привозили на продажу мясо, рыбу, овощи: весьма, надо сказать, оживленное место, но – лишь до захода солнца, ибо перед тем, как на ночь закрывались городские ворота, Мелилью должны были покинуть все арабы, за исключением самых надежных и проверенных – те могли остаться и переночевать в местной тюрьме, под присмотром альгвазила. Его самого мне увидеть не довелось, потому что в этот же вечер «Мулатка», пока о нас не дали знать, потихоньку, на веслах, выбралась в открытое море, а там, пользуясь ветром с берега, двинулась на восток,

⁷ Вскоре по вступлении на престол последнего короля вестготов Родерика в Испанию в 711 г. явилась, призванная туда, по преданию, графом Юлианом, мстившим королю за «личную обиду», армия исламизированных берберов под командованием Тарика, вольноотпущенника Мусы ибн Нусайра, мусульманского наместника в Кайруане. Воспользовавшись борьбой за вестготский трон, они разбили войска короля Родерика. Странники прежнего короля, Витиза, которого сверг Родерик, покинули его; сам Родерик был убит, и королевство вестготов в результате одного сражения рухнуло.

⁸ В 1580 г. Португалия со всеми своими «заморскими территориями» была присоединена к Испании и вновь обрела независимость лишь в 1640 г.

так что рассвет застал нас уже на траверзе Чафариновых островов, на полпути к Орону, куда к вечеру следующего дня мы и прибыли без приключений, счастливо избежав неприятных встреч.

Оран – это, конечно, было нечто совсем другое, хотя место тоже далеко не райское. И этот город пребывал в бедственном состоянии, присущем, впрочем, всем испанским крепостям на африканском побережье, по причине скверного снабжения и ненадежных средств сообщений, и его рavelины да бастионы тоже пребывали в забросе и небрежении. Разница была в том лишь, что не в пример Мелилье, скажем, где стены возвели на голом утесе, Оран был настоящим городом, благо рядом протекала река, так что воды было в изобилии, а где вода – там богатые урожаи с огородов и садов; гарнизон же его, хоть и не очень многочисленный – в ту пору насчитывал он тысячу триста солдат с семьями да еще полтысячи жителей, занимавшихся кто чем, – вполне мог отбить и нападение, и охоту повторять его. Так вот, короче говоря, если прочие испанские крепости были заброшены в небрежении, то судьба Орона была пусть и плачевна, но все же лучше, чем у других. Зримым доказательством тому служил караван груженых всяким припасом судов, вошедших в бухту Фалькон: там-то между грозным фортом Масальквивир и мысом Мона, под защитой пушек замка Сан-Грегорио, и расположилась Оранская гавань. Там наша галера, вернувшись к флотилии, чей ордер покинула, погнавшись за пиратом, и стала на рейде невдалеке от берега, рядом с вынесенной в море башней, а мы на катере добрались до суши и дальше пешком прошли примерно полулигу до города, с высоты нависавшего над побережьем и повторявшего все его изгибы, надвое разделенного рекой, по обоим берегам которой живописно раскинулись сады и рощи, белели ветряные мельницы.

Добрались, говорю, преисполненные радости оттого, что вновь ступили на твердую землю, да притом – не с пустым карманом, и пусть Оран в подметки не годился Неаполю, мог все же и он предоставить кое-какие увеселения. В избытке было там таверн, коими владели отставные солдаты, рынок, благодаря торговле с маврами, ломился от товаров, а доставленные нами с Полуострова зерно, порох и ткани сильно обрадовали местных. Город, хоть и был невелик, располагал каким-никаким, а все же публичным домом, ибо в отношении к подобным гарнизонам даже епископы и богословы, всласть подискутировав на эту тему, пришли к выводу, что следует покориться неизбежному, ибо сколько-то веселых девиц легким своим поведением не только облегчают тяготы несущих воинскую службу, но и оберегают непорочность барышень и честь замужних дам, поскольку сокращается число как изнасилований, так и дезертиров, отправляющихся в мавританские деревни утолить телесный голод. Об этом и толковали мы, солдаты и моряки, намереваясь первым долгом, подобным прохождению таможи и уплате въездных пошлин, посетить оранский бордель, когда произошла, лишний раз доказуя, что за каждым поворотом жизненного пути подстерегают нас большие неожиданности, совершенно непредвиденная, невероятная и отрадная встреча.

– Да чтоб меня повесили! Это сон или явь?! – произнес знакомый голос.

И повернувшийся к нам – руки в боки, шпага на поясе – караульный начальник, который в теничке беседовал с солдатами у входа, оказался Себастьяном Копонсом собственной персоной – низкорослой, тощей и жилистой.

– Так вот все оно и было, – завершил он свой рассказ.

Мы выпивали втроем за столиком тесной и грязной таверны, под парусиновым, многоразовым штормовым навесом, защищавшим от солнца. Копонс, по своему обыкновению, потратил очень мало слов, живописуя свое житье-бытье за последние два года, ибо именно столько минуло с нашей последней встречи в андалузской, опять же, таверне, где мы распрощались с ним по окончании достославной истории с «Никлаасбергенем» и золотом короля,

когда при участии еще нескольких молодцов перебили множество фламандцев и испанцев-наемников. И, как поведал нам Копонс, злое невезение спутало ему карты, не позволив исполнить похвальное намерение уволиться из армии, обзавестись в родном краю, под Уэской, клочком земли, домиком и женою. Некая провалившаяся затея в Севилье, смертоносный удар шпагой в Сарагосе – и вот уж замельтешили вокруг него альгвазилы, писцы, судьи, стряпчие и прочие паразиты, гнездящиеся в канцелярских делах, как клопы за обивкой, повели хоровод, опустошили его карманы, обобрали дочиста, так что снова пришлось топтать в казарму зарабатывать на жизнь. Попытался уехать в Индии – ничего не получилось: там требовались не столько солдаты, сколько чиновники, священники и мастеровые, а когда он совсем уж было собрался завербоваться во Фландрию или в Италию, случилась новая драка в кабаке, итогом коей стали двое избитых стражников и перекрещенный клинком альгвазил, – и опять затрепыхался наш Копонс в тенетах правосудия. На этот раз денег у него не хватило даже на то, чтобы сделать слепую Фемиду хотя бы кривой, и счастье еще, что судья, оказавшийся из тех же краев, посочувствовал земляку и предложил на выбор: либо четыре года в каталажке, либо год – солдатом в Оране за полсотни реалов в месяц. Так он и попал сюда, а год нечувствительно обернулся полутора.

– А отчего же вы застряли-то? – брякнул я по неизбывной своей наивности.

Себастьян Копонс переглянулся с Диего Алатристе, словно говоря: «Душевный малец этот Иньиго, только совсем еще безмозглый», и тотчас разлил по кружкам вино, кислое и едкое, неведомой лозы, однако выбирать не приходилось: мы были в Африке, и жарыща там, как и полагается, была – страшное дело, не приведи, Господи. А главное – мы выпивали втроем, впервые свидевшись после Руйтерской мельницы, Бреды, Терхейдена, Севильи и Санлукара.

– Начальство не отпускает.

– А кто ваше начальство?

– Его сиятельство маркиз де Велада, комендант крепости и начальник гарнизона.

И вслед за тем, потягивая вино, рассказал мне, что такое служба в Оране: скверно обеспечиваемые, еще хуже оплачиваемые люди гниют здесь, не надеясь на продвижение по службе да и вообще – ни на что, кроме как на то, что состарятся здесь, в одиночестве или в кругу семьи, если ею обзаведутся, и тогда признают негодным, а до тех пор ни рапорты, ни прошения, ни черт, ни дьявол не помогут. Прежде чем разрешат уползти на карачках домой, в Испанию, изволь-ка лет сорок тянуть здесь лямку, ибо вакансии заполнять нечем, а солдаты, которых отправляют в Берберию, не успеют на сходни взойти, а уж норовят дезертировать. Полчасика погуляй по городу – и увидишь, до чего оборваны и истощены здешние люди: на каждую счастливую оказию урвать что-нибудь приходится недели голодухи и нехватки всего на свете: провианта не привозят, не платят ни жалованья, ни боевых, ни полевых, ни за особые условия службы и вообще ничего не платят, хотя здешний солдат обходится казне дешевле любого другого: решил какой-то придворный финансист – а его королевское величество, видать, согласилось, – что если в наличии есть вода, сады-огороды и мавры по соседству, то войско само себя как-нибудь да прокормит, так что нечего на него деньги тратить. Беда в том, что давали солдатам какое-либо вспомоществование только в самом крайнем случае, так что вот и Себастьян Копонс, прослужив полных семнадцать месяцев, ни единого медного грошика из тех ста с чем-то эскудо, что причитались ему как старому солдату, знающему обращение с аркебузой и мушкетом, не получил. Единственное подспорье – набеги.

– Чего? – переспросил я.

Копонс, сощурив один глаз, взглянул на меня. За него ответил капитан Алатристе:

– Да-да, как во времена наших дедов. Снаряжаются, выходят и грабят поселения незамиранных мавров.

– Оран, – добавил Копонс, – это старая сводня, которая тем кормится и сыта бывает.

Я глядел на него, сбитый с толку:

– Не понимаю.

– Всеу свое время, – ответил Себастьян Копонс.

И налил еще. Он был, как всегда, крепок, жилист, сух, но мне показалось – не то постарел, не то устал. И вот еще что: против обыкновения удивительно речист сегодня. Мне показалось, что в душе этого человека, у которого, подобно моему хозяину, слова с языка шли туго в отличие от шпаги, вылетающей из ножен с легкостью невероятной, скопилось за время, проведенное в Оране, слишком много такого, что теперь, под воздействием непредвиденной встречи со старыми друзьями, растопилось и хлынуло потоком. И я слушал в оба уха, поглядывая на него с ласковой приязнью. От жары он распахнул на груди грязный и залощенный замшевый колет, надетый прямо на голое тело – сорочки, как и прочего белья, Копонс не носил за отсутствием оногo; заработанный на Руйтерской мельнице шрам тянулся к левому виску, пропадая в коротко остриженных волосах, где прибавилось белых нитей. И на плохо выбритом подбородке тоже посверкивала седая щетина.

– Ты объясни ему, кто такие незамиранные мавры, – сказал капитан.

И Себастьян объяснил. Арабы, обитавшие по соседству, делятся на три разряда – мирные, немирные и *могатасы*. Мирные ведут торговлю с испанцами, доставляя им продовольствие и все прочее. Платят нечто вроде податей, и пока платят, считаются друзьями. А с той минуты, как перестают, становятся врагами.

– Звучит устрашающе, – заметил я.

– Не только звучит. Заловят кого-нибудь из наших, перережут глотку или оттяпают все мужское достояние. А мы, когда поймаем, производим это с ними...

– А как вы отличаете мирных от немирных?

Капитан качнул головой:

– Да мы и не отличаем.

– Где уж нам, скудоумным... – вставил Себастьян Копонс.

Услышав эти слова, я призадумался над их зловещей подоплекой. Потом осведомился: кто же такие могатасы? А это те, ответственвал капитан, кто, не переходя в христианство, сражается на нашей стороне как испанские солдаты.

– И что же – им можно доверять?

Копонс скорчил гримасу:

– Можно... Не всем.

– Я бы вот вообще ни одному мавру не смог довериться.

Оба ветерана насмешливо воззрились на меня. Должно быть, я показался им непроходимым дурнем.

– В таком случае тебя ждет еще много открытий. Мавры, брат, – они разные бывают.

Мы спросили еще вина, и, как деготь, черная, как смерть, страшная кабатчица – особенно завлекательны у ней были босые ноги, но и все прочее не лучше – подала новый кувшин. Я пребывал в задумчивости, глядя, как Копонс наполняет мой стакан.

– А как узнать, можно доверять или нельзя?

– Поживи с мое, мальчуган. – Копонс дотронулся до кончика носа. – Нюхом начнешь чують. И вот что я тебе еще скажу: христиан, приверженных пороку винопийства, я на своем веку повидал немало. А мавра – ни одного. Опять же, не в пример нам, грешным, они и в карты не садятся, даже если тузов в колоде сдать им столько же, сколько лет ихнему Магомету.

– Они слова не держат, – возразил я.

– Смотри кто и кому это слово дал. Вот когда изрубили в куски людей графа де Алькаудете, его могатасы остались ему верны и дрались до последнего... Потому я тебе и говорю: мавры – они разные.

И, покуда мы добирались до дна очередного кувшина разбавленного свыше всякой меры вина – дьявол бы его побрал вместе с той паскудой, что винную бочку спутала, видать, с крестильной купелью, – Копонс продолжал живописать нам оранское житье-бытье. Людей нехватка, страшнейшую убыль восполнять нечем, повествовал он, ни одна тварь своей волей в Африку отправляться не желает, все знают: попадешь сюда – век не выберешься, завязнешь намертво. Потому и не хватает в гарнизоне четырехсот человек до списочного состава, а с Пиренеев если кого и доставляют, то либо исключительный сброд и отребье, отпетую каторжанскую сволочь, пробы ставить негде, галеры по ним плачут, либо новобранных олухов, которым в их развешанные уши напели, с три короба наплели, вот как прибывшему прошлой осенью пополнению в сорок два человека, что служить будут в Италии, а в Картахене погрузили на корабль да привезли в Оран, позабыв спросить их на то согласия, причем троицу самых артачливых пришлось повесить, прочими же доукомплектовали здешние части. Ничего не попишешь: дернула нелегкая – неси тяготы. Так что недаром и неслучайно, в добавление к поговорке «поставить копьё во Фландрии», что означает трудность невыполнимую, задачу невыполнимую, вроде как «луну достать с неба», добавилось еще и речение «доставить сто копий в Оран». Не с ветру оно взято, ох не с ветру.

– Так и живем... Дранные, рваные, голые-босые и впроголодь. Отчаяться впору. – Копонс чуть понизил голос: – Дивиться ли, что те, кому уж совсем невоготу и невтерпеж, кого допекло превыше сил человеческих, передаются маврам? Помнишь, Диего, бискайца Индураина?... Ну он еще при Флерюсе оборонял хутор с Утрерой, Барреной и прочими... Один только и уцелел тогда... Он да еще трубач. Помнишь, нет?

Капитан кивнул.

– И что же случилось с этим бискайцем Индураином? – поинтересовался я.

Копонс оглядел свой стакан, сплюнул, немного скобочившись, под стол и перевел взгляд на меня:

– Что случилось? Он прокуковал здесь полных пять лет, а платы не получил и за три года. Тому назад будет два месяца, как повздорил с сержантом, сунул ему нож под ребро, а ночью ушел из-под стражи вместе с приятелем, которого от большого ума приставили к нему часовым. Перелезли через стену и смылись. Слышал, будто они добрались с большими мытарствами до Мостагана и там приняли турецкую веру. Так ли, нет, не знаю...

Алатристе и Копонс переглянулись понимающе. И потом я увидел, что мой хозяин омочил в вине усы, пожал плечами, как бы приемля смиренно и безропотно все, что судьба выкатила на долю и ему, и другу его Копонсу, и прочим, и всем, и злосчастной их Испании. Теперь я понял наконец прикровенный смысл четверостишия, слышанного мною года за два до сего дня в одном из мадридских театров и, помнится, сильно меня тогда возмутившего:

Сбежим отсюда да поищем,
куда бы приклонить главу:
невместно быть герою – нищим,
противно это естеству!

– Нет, – неожиданно сказал капитан Копонсу, – ты представь, как Индураин расстилает коврик, поворачивается лицом к Мекке и творит намаз.

И криво усмехнулся. Араговец бегло и скупно улыбнулся в ответ, явно имея в виду то же, что и Алатристе. Веселости в этом было, надо сказать, негусто, в отличие от скепсиса, столь присущего старым солдатам, которые с полным правом могли бы сказать: «Мы так долго ходим строем, что иллюзий уж не строим».

– Но, знаешь ли, тем не менее, – сказал Копонс. – Как ударят в барабан – все тут как тут.

Святые слова, и время снова и снова подтверждало их правоту. Сколь ни велики были заброс, нищета и небрежение, в коих пребывали земли Северной Африки, но когда доходило до дела, руки для защиты их отыскивались почти неизменно. Люди сражались не для денег, не славы ради, да, кстати, на подкрепление тоже не больно-то рассчитывая – но движимые только отчаянием, гордыней и заботой о сложившемся в веках мнении, иначе именуемом *репутация*. Сражались, дабы умереть стоя, а не в неволе сдохнуть: поверьте, я знаю, о чем говорю, а достанет вам терпения дочитать мою меморию – и вы узнаете. Как бы то ни было, люди определенного сорта утешаются в смертный час мыслью, что жизнь они продали дорого. Для нас, для испанцев, это не вчера началось и не завтра кончится, и продолжаться будет, пока большая часть этих земель, Богом, а тем паче – королем забытых, не перейдет в руки турок или мавров. Так еще в прошлом веке произошло и в Алжире, когда Хайр-ад-Дин Барбаросса штурмовал запиравшую выход в порт крепость на скалах с гарнизоном в полторы сотни наших солдат, которые ждали, да так и не дождались помощи от Испании, бросившей их на произвол судьбы – по причине, как указал хронист Пруденсио де Сандоваль, «иных тяжких и многообразных забот, занимавших в ту пору помыслы нашего императора», – но тем не менее отбивались отчаянно, так что когда турки, шестнадцать дней кряду крушившие редут из пушек, ворвались в укрепление, где уже камня на камне не оставалось, то обнаружили там лишь полсотни бойцов, поголовно раненных или покалеченных, во главе с их капитаном Мартином де Варгасом, которого Барбаросса, придя в ярость от такого упорного сопротивления, приказал посадить на кол. И спустя несколько лет после описанных здесь событий свирепый натиск двадцатитысячного войска довелось испытать на себе и гарнизону крепости Лараче – полутора ста солдатам да полусотне инвалидов: они дрались, будто бесами обуянные, обороняя пространство в шесть тысяч шагов. И Оран весьма достойно выдержал несколько осад и приступов, среди коих один вдохновил дону Мигеля де Сервантеса сочинить комедию «Неустршимый испанец». Ему же, дону Мигелю то есть, не зря сражавшемуся при Лепанто, обязаны мы двумя прекрасными сонетами, написанными в память тех тысяч солдат, что пали смертью храбрых, оставленные своим королем умирать, как повелось и сейчас еще ведется в нашей истории и сделалось самым что ни на есть испанским обыкновением. Стихи эти, включенные в «Дон Кихота», вспоминают защитников прикрывавшего Тунис форта Ла-Голета, которые, противостоя двадцати пяти тысячам турок, отбили двадцать два штурма, так что из той горсточки уцелевших не нашлось ни одного, кто не был бы ранен. «*Вам не отвага – силы изменили*», – говорится в первом сонете. Второй же звучит так:

На сей земле израненной, бесплодной
Где в прах была повержена
твердыня, Три тысячи солдат легли, и в сини
Стремят их души
свой полет свободный.

Сперва они стеной стояли плотной,
Их тщился выбить враг в своей гордыне.
Но руки слабли, ряд редел, и ныне
Лёг под мечами строй их благородный.⁹

Но, как уже было сказано, жертвы оказались напрасны. После битвы при Лепанто, знаменовавшей собой наивысшую точку в противостоянии двух великих средиземноморских держав, Турция обратилась к своим интересам в Персии и на восточной оконечности Европы, а наши короли – ко Фландрии и к атлантическим затеям. Столь же мало внимания

⁹ Перевод И. Поляковой

уделял Африке и четвертый Филипп, нынешний наш государь, беря в сем небрежении пример со своего первого министра графа-герцога Оливареса, который сам терпеть не мог портов и галер, на палубу ни одной из коих он во всю жизнь не вступил, уверяя, будто от тамошней вони у него разыгрывается мигрень, морское же дело презирал, считая, что занятие это, низменное и заурядное, пристало одним голландцам – если только речь шла не о доставке из Индий золота, без которого не много навоюешь. И вот потому-то, благодаря королям да фаворитам, Средиземноморье, позабыв времена, когда его бороздили крупные корсарские флота, а две империи разыгрывали на его просторах мудреные шахматные партии, превратилось не в поле, так в море деятельности мелких каперов из прибрежных стран, каковая деятельность, хоть от нее кто-то менял бедность на богатство, а порою – и жизнь на смерть, уже не заставляла сердце Истории биться чаще. И теперь, когда минуло уж больше века с наивысшего взлета христианской Реконкисты, ведя которую на протяжении восьмисот лет, мы, испанцы, создавали самих себя, когда решено было отказаться от проводимой кардиналом Сиснеросом и старым герцогом де Медина-Сидония политики контрударов по исламу, уже и к Африке утратила интерес наша держава, оказавшаяся на ножах чуть ли не с целым светом. Форты и крепости в Берберии были ныне если не символами, то уж и не больше чем дозорными вышками и нужны были исключительно, чтобы держать в узде корсаров вкупе с Францией, Голландией и Англией и не дать им обосноваться на этом побережье, чтобы с него отправляться на перехват наших галеонов, идущих в Кадис. Вот и не давали мы им потачки и воли, которую давно уже обрели они в корсарских республиках на Карибском архипелаге благодаря консулам своим и коммерсантам. Ну и чтоб покончить с этим предметом, осталось мне добавить лишь, что спустя два-три года Танжер на два десятилетия стал собственностью британской короны, с толком и выгодой для себя воспользовавшейся возмущением в Португалии, и что уже в следующем, 1628 году при осаде Ла-Маморы именно английские саперы учили мавров и траншеи копать, и мины подводить. Дело известное, недаром же говорится: рыбак к рыбаку приплывет на боку – или как там?

Затем решили мы прогуляться. Копонс повел нас по узеньким улочкам, стиснутым с обеих сторон каменными, оштукатуренными стенами домов, немного напоминавших толедские с той лишь разницей, что здесь кровли были плоские и крыты не черепицей, а немногочисленные подслеповатые окна не ставнями закрывались, а завешивались циновками. От влажности, порожденной близким соседством моря, штукатурка лупилась и обваливалась кусками, от чего вид делался совсем неприглядный. Добавьте рои мух, полощущееся на веревках белье, оборванных детей, игравших в патио, инвалидов, что, сидя на ступеньках или скамейках, провожали нас любопытствующими взглядами, – и вы получите верное представление о том, каким показался мне Оран. На каждом шагу веяло здесь военным духом, да и как же иначе: город являл собою одну огромную казарму, населенную солдатами и их семьями. Впрочем, я смог убедиться, что на довольно обширном пространстве, огороженном крепостными стенами и располагавшемся на нескольких уровнях, как бы уступами, имелось также изрядное количество разного рода присутственных мест, равно как и булочных, мясных лавок и таверн. Цитадель, или крепость в крепости, где находилась резиденция губернатора и гарнизонного начальства, выстроена была еще маврами – иные уверяли, что и вовсе римлянами, – и выстроена прочно и крепко, с умом и размахом. Были в городе также казарма, солдатский лазарет, еврейский квартал – к моему удивлению, здесь еще не повывелись евреи, – монастыри францисканский, доминиканский и мерседарианский¹⁰, в восточной части – несколько превращенных в церкви старинных мечетей, из коих одна выделялась размерами и по воле кардинала Сиснероса, некогда завоевавшего Оран, сделалась кафед-

¹⁰ Арагонский «Орден милосердия», основанный в 1233 г.

ральным собором Пресвятой Девы Победу Дарующей. И повсюду, здесь и там, на улицах, на тесных убогих площадях, под парусиновыми навесами или в тени подворотен виднелись неподвижные фигуры: безучастно и отчужденно сидели, прислонив к стене костыли, погруженные в свои мысли мужчины, среди которых много было старых солдат – кто без руки, кто без ноги, но все одинаково оборванные и покрытые рубцами да шрамами. Я вспомнил о неведомом мне бискайце Индураине, что зарезал сержанта, а потом ночью спустился по крепостной стене, предпочтя совершить измену, нежели оставаться здесь долее, – и поневоле опечалился.

– Ну как тебе нравится Оран? – спросил меня Копонс.

– Сонное царство какое-то, – отвечал я. – И люди здесь какие-то снулые и расслабленные.

Араговец кивнул. Провел ладонью по лицу, утирая пот.

– Да, они встрепенутся, если мавры наскочат или, наоборот, – если будет готовиться набег. На человека поистине чудотворное действие оказывают нож у горла или звон в кармане... – Тут он полуобернулся к Алатристе. – Короче говоря, вы прибыли вовремя. Что-то явно затевается.

В светлых глазах капитана, отражавших из-под надвинутой шляпы слепящий блеск улицы, мелькнула искра интереса. В эту минуту мы как раз приблизились к арке Пуэрта-де-Тремесен, то есть оказались в дальней от моря части города. Несколько оборванных каменщиков – испанцев-арестантов и мавров-невольников – тщились укрепить покосившуюся и грозящую рухнуть стену. Копонс поздоровался с одним из часовых, сидевших в тенечке, и мы выбрались за ворота, от которых Ифре – ближайший городок мирных мавров – отстоял на два аркебузных выстрела. Здесь все было в еще более плачевном виде: каменные плиты поросли буйным кустарником, стена во многих местах была разрушена, караульная будка лишилась крыши и разваливалась, гнилое дерево подъемного моста, перекинутого через узкий ров, который едва ли не доверху был завален всякой дрянью и мусором, угрожающе потрескивало у нас под ногами. Просто чудо, подумал я, что отсюда еще умудряются отражать врага.

– Набег? – спросил Алатристе.

Копонс скорчил гримасу, долженствовавшую означать: «Весьма вероятно».

– Куда?

– Не говорят. Но мне думается – вон туда. – Араговец показал на уходящую к югу Тремесенскую дорогу, петлявшую в садах. – Там несколько бедуинских поселений... Ходят слухи, что на них и ударим, угоним скот, возьмем пленных, а за них – выкуп. Будет чем разжиться.

– Мавры-то немирные?

– Нет, так будут.

После этих слов я уставился на Копонса, немало, признаться, удивленный ими. И попросил подробнее объяснить механику предприятия, именуемого «набег».

– Помнишь Фландрию? Нечто вроде этого: выходим ночью, идем быстро, а чуть рассветет, орем: «Испания и Сантьяго!» Больше чем на восемь лиг от Орана не удаляемся.

– Стрельба-пальба?

Копонс качнул головой:

– Почти нет. Чтобы пороха не тратить, режемся, что называется, грудь в грудь. Если становище поблизости, забираем скот и пленных. Если подальше – одних людей и все мало-мальски ценное. Потом возвращаемся за стену, подсчитываем, на сколько потянет добыча, продаем, а выручку делим поровну.

– И что же – есть что делить?

– Как когда. Если приводим невольников, можно заработать эскудо четыреста, а то и поболее. Миловидная бабенка детородного возраста, дюжий негр или молодой мавр дают в общий котел по тридцать реалов с носа. Детишки, если здоровые, – по десять. Последний набег сильно скрасил нам жизнь. Мне, к примеру, досталось восемьдесят эскудо чистыми – половина моего годового жалованья.

– Вот потому тебе король и не платит, – сказал я.

– Нет, не потому... От каменного падре дожись железной просфоры...

В это время мы шли уже берегом реки – ухоженным, обсаженным фруктовыми деревьями; вдалеке виднелись ветряные мельницы и нории¹¹. Попавшиеся навстречу нам старик-мавр и с ним мальчишка – оба в изношенной и обтрепанной одежке – несли за спиной корзины, доверху наполненные овощами и зеленью. Я невольно восхитился тем, какой дивный вид открывался отсюда: зеленые возделанные поля, простершиеся между рекой и городскими стенами, Оран с вознесенной на крутом склоне цитаделью, а далеко внизу – развернувшееся синим веером море.

– Без таких вылазок да без урожая с этих садов-огородов мы бы долго не протянули, – заметил Копонс. – Пока не пришла ваша галера, мы четыре месяца кряду получали по фанеге¹² зерна в месяц и по шестнадцати реалов пособия каждому семейному солдату. Сами небось видели, какими оборванцами тут люди ходят... Старый фламандский трюк, а, Диего? Вам надобно денег? Милости просим на приступ вон того форта: возьмете – все ваше... С Богом, ура! Там были еретики-голландцы, тут мавры – королю это без разницы.

– А королевскую пятину берут? – полюбопытствовал я.

– А как же! – отвечивал Копонс. – Королю долю его отдай и не греши. И сеньор губернатор своего не упустит – выберет себе лучших невольников или целое семейство вождя того племени, что жило в разоренной деревне. Остальное разделят между солдатами и офицерами сообразно жалованью и чину. Включая и тех, кто на вылазку не ходил, а сидел в крепости... Ну и святую нашу мать-церковь не позабудь.

– Как? Пресвятые отцы тоже военной добычей не брезгают?

– Еще бы им брезговать... Здесь набегам кормятся все решительно, ибо даже ремесленники и купцы внакладе не остаются: арабы приходят к ним выкупать свою родню за деньги или за товар. После каждого удачного дела весь город – одна базарная площадь в торговый день.

Мы остановились у дощатого сооружения, крытого пальмовыми листьями, – караульной будки, где по ночам прятались от холода часовые у моста, который связывал город со всеми его пригородами и огородами и форты – Росалькасар, стоявший на другой стороне реки Гуааран, и Сан-Фелипе, находившийся чуть подальше. Первый, поведал нам Копонс, совсем уже почти развалился, а во втором ведутся беспрестанные работы, и конца им не видно. И крепости, некогда составлявшие славу Орана, ныне стали едва ли не чистой мнимостью, и самый город для защиты своей располагает всего лишь древней стеной, а больше ничего и нет – ни рва, ни частокола, ни подземного хода, ни поперечного прикрытия, сиречь траверса, ни хоть самого завалищего рavelина. В общем, как сказал не помню кто, не беда, что стены тонки, – зато кишка не тонка. Что-то в этом роде.

– Нам тоже можно будет пойти? – спросил я.

Копонс посмотрел на меня, на капитана, опять на меня, а потом с видом полнейшего безразличия осведомился:

– И далеко ль собрался?

¹¹ Нория (*исп.* *noḡia*, от *араб.* *наора* – водокачка) – бесконечная цепь с укрепленными на ней черпаками, используется для орошения.

¹² Фанега – мера сыпучих тел, равная 55,5 л.

Я и взгляд его не моргая выдержал, и сам держаться постарался молодецкато, как подобает солдату, ответив с большим хладнокровием:

– Куда ж еще, как не с вашей милостью на вылазку?

Оба ветерана снова переглянулись, а Копонс в раздумье поскреб загривок.

– Как ты полагаешь, Диего?

Мой бывший хозяин глядел на меня изучающе и задумчиво. Потом, не отводя глаз, пожал плечами:

– Деньги лишними не бывают.

Копонс, всецело разделяя это мнение, заметил, однако, что есть одна сложность: на подобные вылазки в едином порыве рвется весь гарнизон.

– Впрочем, – добавил он, – когда приходят галеры, берут людей и с них. Подкрепление. Так что момент для вас благоприятен. У нас многие маются от лихорадки, слегли в лазарет или так ноги еле таскают от здешней солончаковой воды – она хоть и в изобилии, да для питья непригодна. В общем, потолкую с Бискарруэсом, благо земляк и тоже воевал во Фландрии. Только язык – за зубами, никому ни слова.

Говоря это, он смотрел не на Алатристе, а на меня. Я не отвел глаза, постаравшись, чтобы он прочел во взгляде моем оскорбленное самолюбие и упрек. Копонс слишком давно и хорошо знал меня и мог бы обойтись без этого предупреждения. Араговец понял ход моих раздраженных мыслей и на мгновение призадумался. Потом, обернувшись к Алатристе, пробурчал:

– Подрос щеночек-то. Клычки не шатаются...

Потом снова окинул меня взглядом с ног до головы, задержался на пальцах за ремненным поясом, оттянутым слева шпагой, справа – кинжалом. Я услышал, как за спиной вздохнул капитан, и в этом вздохе мне почудилась легкая насмешка, смешанная с толикой досады.

– Ох, Себастьян, ты его еще не знаешь.

III. Вылазка в Уад-Беррух

Издали донесся собачий лай. Диего Алатристе, ничком лежавший на земле меж кустов, проснулся, повинувшись безошибочному чутью старого солдата, поднял голову, уткнутую в скрещенные руки, открыл глаза. Спал он недолго: может, всего несколько секунд, однако среди прочих солдатских навыков, вьевшихся в плоть и кровь, числил он и умение спать где придется и сколько доведется. Ибо люди его ремесла редко могут сказать наверное, когда им в следующий раз выпадет минутка всхрапнуть, поесть или выпить. Или, наоборот, облегчиться. Вокруг, на склоне, среди неподвижных и безмолвных фигур несколько солдат именно этим и занимались, зная, вероятно, как рискованно получить пулю или клинок в брюхо, если брюхо это – полное. И Алатристе, расстегнув штаны, не замедлил последовать их примеру. «Запомните, господа солдаты, на пустой желудок драться лучше», – наставлял их некогда один из первых его сержантов, дон Франсиско дель Арко, впоследствии убитый в двух шагах от Алатристе в дюнах Ньюпорта: с дель Арко капитан, в ту пору едва достигший пятнадцати лет, ходил в конце прошлого века на голландцев и на французов, брал и грабил Амьен, что удалось на славу – вдосталь хлебнуть лиха пришлось потом, попозже, когда французы почти на семь месяцев взяли город в правильную осаду.

...Делая свое дело, он задрал голову кверху. Кое-где еще посверкивали звезды, по небу на востоке уже разливался сероватый свет зари, но голые вершины холмов по-прежнему держали во тьме – такой, что хоть глаз выколи – шатры бедуинского становища в просторной долине, отстоявшей от Орана на пять лиг: проводники называли ее Уад-Беррух. Алатристе, затянув пояс со всей амуницией, застегнувшись, снова улегся на землю. Днем, когда африканское солнце устроит свое обычное пекло, он взмокнет в толстом колете, но сейчас он – как нельзя более кстати, потому что ночи здесь, черт бы их драл, несусветно, невыносимо холодные. Пригодится и старый нагрудник из буйволовой кожи. Рукопашная – она рукопашная и есть, независимо от того, с кем режешься – с турками, маврами или еретиками-лютеранами. Вот они, памятные знаки этих встреч: на лбу, на брови, на руке, на ноге, на бедре, на спине – и как только все на теле-то уместилось? – общим числом девять, если считать след от аркебузной пули, а вместе с ожогом на предплечье – то и все десять.

– Разбрехалась, проклятая тварь, – пробормотал кто-то из лежавших поблизости.

В отдалении вновь залаяла собака. И ей тут же отозвалась другая. Скверно, подумал Алатристе, если это они не просто так, а учуяли солдат и сейчас перебудят обитателей становища. К этому часу отряд, заходящий с противоположной стороны долины, уже должен занять позицию, спешившись и оставив лошадей, чтоб, не дай бог, ржанием своим не помешали нападению врасплох. Там – человек двести, и тут – примерно столько же да еще полсотни могогасов: более чем достаточно, чтобы обрушиться на спящих и ничего не подозревающих кочевников, которых вместе с женщинами, детьми и стариками всего-то три сотни.

Все это Алатристе днем рассказали в Ороне, а прочие подробности он узнал во время ночного шестичасового перехода, когда с разведчиками-могогасами впереди люди и лошади сторожко двигались во тьме по Тремесенской дороге: сперва строем, а после – россыпью, сначала – берегом реки, а потом, оставив позади лагуну, отшельничий скит, в здешних краях называемый *морабитом*, колодец и равнину, обогнули холмы с востока, прежде чем разделиться на две партии и залечь в ожидании рассвета. Ну так вот: обосновавшиеся здесь арабы из племени бени-гурриарана, земледельцы и пастухи, считались мирными маврами, которых испанский гарнизон обязывался защищать от враждебных племен при том условии, что они ежегодно в установленный срок будут доставлять в город определенные количества зерна и сколько-то голов скота. О прошлом годе, однако, они и припоздали, и недопоставили – по сию пору остались должны еще примерно треть оговоренного, – но поклялись всем святым,

что в возмещение недоимок пригонят скотину не весной, а сейчас. Обязательства свои так и не выполнили и, по слухам, намеревались сняться и перекочевать куда-нибудь подальше от Уад-Берруха, в такое место, где испанцы не достанут.

– Вот мы их и поздравим с добрым утром, прежде чем они смоются, – сказал, помнится, главный сержант Бискарруэс.

Человек этот, араговец родом, вояка по ремеслу и склонности души, пользовался доверием губернатора Орана и был самым что ни на есть образцом нашего африканского воинства: этакий кремень, лицо будто выдублено солнцем, пылью, пуще же всего – самой жизнью, которую вел он в беспрестанных боях сначала во Фландрии, а потом – в Африке, где за спиной у тебя море, до короля далеко, до Бога высоко, тем паче что Он, по всему судя, развлечен иной какой-то докукой, зато до мавров рукой подать, – особенно если в руке этой шпага. Под началом у него служили люди, которым, кроме как на добычу, надеяться было не на что: отпетые висельники, отъявленные головорезы, опасный каторжанский сброд, в любую минуту готовый дезертировать, взбунтоваться или устроить поножовщину, – и он умудрялся держать их в узде. Словом, был он крутенок, но не спесив, а продажен не более, нежели все прочие. Так описал его Себастьян Копонс перед тем, как на исходе первого нашего дня в Ороне отправиться к Бискарруэсу. Мы нашли его в одном из казематов цитадели, перед картой, расстеленной на столе и придавленной по углам кувшином вина, свечой в шандале, кинжалом и пистолетом. Здесь же находились еще двое: высокий мавр в белом бурнусе и некто смуглый, носатый, худосочный, с подстриженной бородкой – этот был в испанском платье.

– Прошу разрешения, сеньор главный сержант... Позвольте представить вам – мой друг Диего Алатристе, старый солдат, воевал во Фландрии, сейчас – в неаполитанском галерном флоте... Диего, это дон Лоренсо Бискарруэс. А это – Мустафа Чауни, командир могатасов, и наш переводчик Арон Кансино.

– Во Фландрии был? – Главный сержант поглядел на капитана с интересом. – И где же именно? В Амьене? Или в Остенде?

– И там, и там.

– Сыро. У проклятых еретиков, я разумею. Здесь-то месяцами ни капельки с неба не упадет.

Они поговорили еще немного, вспоминая общих знакомцев – живых и убитых, – после чего Копонс изложил дело и получил разрешение Бискарруэса. Капитан же тем временем рассматривал всех троих. Могатас был из племени улад-галеб, три поколения которого верно служили Испании, и наделен всеми его особенностями: темнолицый и седобородый, он носил мягкие туфли на манер комнатных, ятаган у пояса и, оставляя по мавританскому обычаю лишь одну длинную прядь на темени, наголо брил голову – на тот случай, если враг отрубит ее да захочет унести как трофей: чтоб не совал пальцы в рот или в глаза. Он командовал полутора сотнями воинов из числа своих соплеменников или сородичей – одно подразумевает другое, – обитавших вместе с женами и детьми в городке Ифре и окрестных селениях и дравшихся – при том, разумеется, условии, что заплатят или выделят долю в добыче, – под знаменами с крестом святого Андрея так доблестно и свирепо, что им позавидовали бы многие подданные и единоверцы его католического величества. Что же до второго, то Алатристе не удивило, что в городе обязанности переводчика исполняет иудей, ибо, хоть племя это из пределов Испании было давным-давно изгнано, в анклавах на севере Африки присутствие его приходилось терпеть по причинам, проистекающим из интересов торговых, финансовых, а также и от преобладания арабского языка. Как узнал я впоследствии, все в роду Кансино – одного из двадцати примерно семейств, населявших еврейский квартал, – с середины прошлого столетия служили доверенными драгоманами и, умудряясь исполнять Моисеев закон – Оран был единственным городом, где еще сохранилась синагога, – соеди-

няли отличные дарования с верностью королю, а потому губернаторы к ним благоволили, отличали их и награждали, передавая должность сию от отца к сыну. Да и немудрено – поскольку речь шла не только о превосходном знании нескольких мавританских наречий, турецкого языка, ну и, разумеется, своего собственного, но также и о шпионстве, благо все иудейские общины Берберии связаны были меж собой весьма тесно. Снисходительно относиться к иудеям побуждал также и блеск их коммерческих дарований, нимало не потускневший за годы и века тяжких гонений и позволявший сынам Израилевым в годы тощих коров ссужать оранских правителей деньгами или зерном. Прибавьте к сему и их роль в работоторговле: с одной стороны, они посредничали в выкупе невольников, с другой – сами были хозяевами большей части продаваемых в Ороне турок и мавров. В конце концов, молишься ли ты Приснодеве, Магомету или Моисею, иудей ли ты, испанец или мавр – серебро, откуда бы оно к тебе ни прикатилось, звенит одинаково, а дело есть дело. «Дивной мощью наделен дон Дублон», как метко подметил дон Франсиско де Кеведо. Аминь.

Вдалеке вновь раздался лай, и Алатристе погладил рукоять на совесть смазанного пистолета за поясом. Может, и лучше будет, подумалось капитану, если пес не уймется и добьется того, что мавры – ну или хоть сколько-то из них, – повскакав с постелей, схватятся за свои ятаганы в тот миг, когда Бискаруэс отдаст приказ к атаке. Резать спящих и сонных, чтобы потом угнать их скотину, увести в рабство их жен и детей, – самое, конечно, милое дело: оно, конечно, и легче, и проще, нежели драться с бодрствующим противником, но, Господи, никакого вина не хватит, чтобы потом вымылась из памяти эта кровь.

– Приготовиться.

Приказ передавался по цепочке, из уст в уста и, приближаясь ко мне, звучал все громче. Когда дошло до меня, я повторил его, и словечко покатило дальше, постепенно затихая среди распластанных на земле фигур, покуда не смолкло, словно замершее где-то в бесконечности эхо. Я облизнул растрескавшиеся губы и тотчас же стиснул челюсти, чтобы не клацать зубами от стужи. Потом затянул ремни альпаргат, размотал тряпье, которым во избежание неуместного шума обвернуто было мое оружие – шпага и короткое копьецо, – и огляделся. В предутренних сумерках не разглядеть было капитана Алатристе, но я знал, что он залег, как и все остальные, где-то неподалеку. А совсем рядом со мной пристроился Себастьян Копонс, обратившийся в темный, неподвижный бугорок, от которого несло потом, насаленной кожей амуничных ремней и сталью, обильно смазанной ружейным маслом. Вокруг виднелось еще несколько таких же фигур – лежавших кучками или поодиночке среди мастиковых деревьев, кактусов и чертополоха.

– Два раза подряд «Символ веры...» – и пойдем, – снова передали по цепи.

И кое-кто сейчас же принялся бормотать молитву – то ли от избытка набожности, то ли чтобы засечь время. И я услышал, как вокруг меня, вразнобой, на все лады зазвучали в полутьме приглушенные голоса с бискайским, астурийским, андалузским, валенсианским, кастильским выговором, ибо мы, испанцы, сообщаем только убиваем, а молится каждый наособицу: «*Credo in unum Deum, partem omnipotentem, factorem caeli et terrae...*» Услышал, разумеется, не впервые, но меня, как всегда, позабавило это благочестивое бормотание, долженствовавшее послужить прелюдией к побоищу; и все эти люди, твердя священные слова, молили Бога о том, чтобы вывел из боя живым, помог добыть золота и рабов, сподобил вернуться в Оран и в Испанию на своих ногах, да с богатой добычей, да чтоб на обратном пути не оказалось врагов поблизости, ибо все превосходно знали – а Копонс и Алатристе особенно настойчиво растолковывали это: ничего на свете нет хуже, чем после схватки с маврами на их земле возвращаться к себе по этим скалистым отрогам, под безжалостным солнцем, когда воды нет вовсе или когда каждый глоток ее обходится тебе в кварту собственной крови; чем обнаружить за собой погоню; чем, отстав от своих, раненым попасть в руки к

маврам, а уж они с большим искусством сделают так, чтобы ты умирал подольше, и времени на то не пожалеют. Может быть, именно поэтому слышалось сейчас вокруг это бормотание: «*Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero...*» Вскоре уж и сам я незаметно для себя принялся повторять эти слова – сперва бездумно, как мурлычат какую-нибудь назойливо привязавшуюся старинную канцонетту, но потом проникся смыслом и стал молиться с самым искренним жаром: «*Et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi, amen*»¹³.

– Сантьяго! Сантьяго и Испания! Пошли! Пошли!

Так завывал теперь этот голос, пресекаемый отрывистыми сигналами горна, и люди, подхватившись, побежали вперед меж кустов, вздымая над собою знамя короля. Я тоже вскочил и бросился со всеми вместе, слыша, как на другом краю становища гремят аркебузы, вспышками выстрелов озаряя тьму – черную полосу под небом, где на синевато-сером все ярче проступал багрянец.

– Испания! Вперед! Вперед!

Бежать по песчаному руслу пересохшего ручья было трудно, и, когда я добрался до противоположного края, где в загоне, огороженном колючими ветками, стояла скотина, ноги у меня будто свинцом налились. О черт! Теперь и с нашей стороны грянули аркебузы, а тем временем мои товарищи, чьи силуэты из неразлично-черных сделались серыми, так что можно было теперь узнать друг друга, волной нахлынули в пространство среди шатров становища – там мелькали фигурки бедуинов: одни пытались сопротивляться, другие убегали. И боевой клич испанцев и могогасов тонул в топоте вылетевшей с другого конца деревни конницы, в истошных воплях женщин и детей, которые в ужасе выскакивали из шатров и металась среди одурелых со сна мужчин, а те тщились защитить их, отбивались, гибли. Я увидел, как рассыпает удары шпагой Себастьян Копонс, и с ним – еще несколько наших, и поспешил к ним, выставив свое копьёцо, которого, впрочем, тут же и лишился, ибо первым же ударом завязил острие в груди полуголого бородача с ятаганом в руке. Он рухнул к моим ногам, даже не вскрикнув, и я не успел еще высвободить оружие, как из шатра выскочил другой мавр – помоложе первого, да, пожалуй, и меня, – и, заноса кривой *ханджар*, кинулся ко мне с такой яростью, что придись хотя бы один из его ударов куда нужно, я без промедления бы отправился к Богу в рай – ну или к черту в зубы, – а жители Оньате недосчитались бы одного из своих земляков. Я отпрянул, на ходу вытаскивая саблю – отличную, кстати, саблю: широкую, короткую, незаменимую для абордажных боев, – и, с нею в руке почувствовав себя гораздо увереннее, обернулся к противнику. Первым ударом я наполовину отсек ему нос, вторым – отрубил пальцы. Третьим – когда паренек уже валялся на земле – прикончил, тупеём тяжелого лезвия перебив ему гортань. Потом осторожно просунул голову за полог шатра и увидел в углу сбившихся кучей и пронзительно вопящих женщин, заходящихся криком младенцев. Задернул полог, повернулся и двинулся дальше.

Готов! Диего Алатристе, упершись ногой в грудь заколотого мавра, высвободил клинок и огляделся. Арабы почти прекратили сопротивление, и нападавшие большей частью занялись грабежом с усердием и рвением, которое и англичанам сделало бы честь. Кое-где слышались еще выстрелы, но крики ярости и отчаяния сменились стонами раненых, жалобными причитаниями пленных и жужжанием ошалевших от восторга мух, неисчислимыми полчищами роящихся над лужами крови. Солдаты и могогасы выволакивали из шатров женщин, детей и стариков, сбивали их в нестройную толпу, понукая и пихая, как скотину, меж тем как другие собирали все мало-мальски ценное и готовились перегонять скотину истинную.

¹³ Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли... Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного... Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь (*лат.*).

Мавританки – дети сидели у них на руках или цеплялись за юбки – пронзительно вопили, царапали себе лицо над телами своих мужей, отцов, братьев и сыновей, а одна, обезумев от горя, кидалась на солдат, покуда ее не отогнали пинками. В стороне под дулами аркебуз и наставленными копьями в испуге и смятении стояли мужчины – покрытые пылью, вымазанные кровью, избитые, раненные. Тех немногих, кто попытался было сохранять достоинство, победители бесцеремонно хлестали по щекам, расплачиваясь звонкими оплеухами – тут главенствовал неписанный закон не убивать то, что денег стоит, – за смерть полудюжины солдат, павших в схватке. И при виде этого капитан Алатристе поморщился, ибо всегда считал, что надо убить – убей, а унижать человека незачем, особенно на глазах у его родни и друзей. Однако подобная щепетильность в ту пору если и встречалась, то крайне редко. Он отвернулся и с беспокойством оглядел окрестности становища. Меж холмов испанские кавалеристы, догнав мавров, которые сумели сперва спрятаться в зарослях тростника и фиговой рощице, а потом убежать, теперь вели их обратно – скрутив им руки и привязав к лошадиным хвостам.

Уже запылало несколько шатров, откуда вытащили и кучей сложили снаружи одеяла, подушки, котелки и прочий скарб. Главный сержант Бискарруэс, все происходящее державший в поле зрения, зычно приказывал поторапливаться со сбором добычи – пора было пускаться в обратный путь. Алатристе заметил, как, сощурясь, он посмотрел на солнце, только что выкатившееся из-за горизонта, а потом с озабоченным видом огляделся по сторонам. Человеку столь опытному, как капитан, не составляло труда угадать, о чем думает Бискарруэс: колонна истомленных переходом и боем испанцев, ведущих сотню с лишним голов скота и больше двухсот пленных – таков, прикинул он, итог набега, – станет легкой добычей для немирных мавров, если не успеет до захода солнца укрыться за стенами Орана.

Алатристе ощущал, что глотка у него пересохла, как этот песок под ногами, и беззвучно выругался: даже сплюнуть не могу, а от пороховой гари язык и небо стали как терка. Снова повел глазами по сторонам и наткнулся на взгляд – одновременно и дружелюбный, и свирепый – рыжебородого могатаса, который старательно отделял от туловища голову убитого. Голову другого, еще живого, но, видно, тяжело раненного мавра, поддерживала старуха, сидевшая на корточках чуть поодаль. Когда Алатристе, все еще со шпагой в руке, остановился перед нею, она обратила к нему морщинистое лицо, все покрытое, как и руки, синеватыми татуировками, окинула ничего не выражавшим взглядом.

– Пить. Воды. Пить.

Старая мавританка не отвечала, пока он не дотронулся до ее плеча кончиком шпаги, и лишь после этого безразлично показала на большой, обтянутый выдубленными козьими шкурами шатер, а потом, не обращая внимания ни на что вокруг, вновь занялась стонущим парнем. Алатристе направился к шатру, откинул полог и шагнул внутрь, в полутьму.

И сразу понял, что лучше бы он этого не делал.

В мельтешении солдат, деловито грабивших становище, я наконец заметил капитана и поразился, что он цел и невредим. Крикнул ему, а когда понял – не слышит, сам двинулся за ним, огибая уже горящие шатры, натываясь на груды сваленного там и тут скарба, на тела раненых и убитых. Увидел, что следом за Алатристе в большой черный шатер вошел еще кто-то: издали показалось, что это мавр из наших, могатас. Но тут капрал, которому я некстати подвернулся под руку, приказал мне покараулить нескольких пленных, покуда их будут связывать. Дело это задержало меня ненадолго – вскоре я снова держал путь к шатру. Отдернул закрывавшую вход шкуру, заглянул внутрь – и оцепенел: в углу с кипы циновок и подушек поднималась молодая полуголая мавританка, которой Алатристе как раз помогал одеться. Поскуливая, как измученное животное, она размазывала слезы по разбитому в кровь лицу. На полу сучил ножками младенец – всего нескольких месяцев от роду, – а рядом с ним

валялся наш, испанский солдат с расстегнутым поясом и спущенными до колен штанами. Череп у него был разнесен pistolетным выстрелом. У входа навзничь лежал другой испанец – тот был в пристойном виде и при полной форме, но из взрезанного от уха до уха горла еще била кровь. Та самая, сообразил я в те доли секунды, покуда еще пребывал в столбняке, что еще не засохла на лезвии кинжала, который приставил мне к горлу бородастый и мрачный могогас. От всего этого – а вот посмотрел бы я на вас, господа, окажись вы тогда в моей шкуре, – у меня вырвалось некое нечленораздельное восклицание, заставившее капитана обернуться и довольно поспешно произнести:

– Это – свой, он мне как сын. Никому не скажет.

Могогас придвинулся совсем вплотную, так что я ощутил на лице его дыхание, покуда он вперял в меня взгляд черных живых глаз, опущенных ресницами столь длинными и шелковистыми, что любой красоте впору. Впрочем, больше ничего женственного не было в этом смуглом, выдубленном солнцем лице, зверское выражение которого рыжая острокопечная борода усиливала до такой степени, что я похолодел. На вид ему было немного за тридцать: тонок в кости, но широкоплеч и с крепкими руками; размотанный и окруженный вокруг шеи тюрбан позволял видеть, что голова у него гладко выбрита и лишь на затылке оставлена по обычаю длинная прядь, в обоих ушах блестели серебряные серьги, а на левой скуле я заметил синий вытатуированный крест. Мавр отвел наконец от моего горла клинок и обтер его о рукав своего бурнуса, прежде чем спрятать в кожаные ножны на поясе.

– Что тут было? – спросил я у капитана.

Тот медленно выпрямлялся. Женщина, вся сжавшись от страха и стыда, спрятала голову под бурый покрывалом. Могогас сказал ей по-своему несколько слов – я разобрал что-то вроде «*барра барра*», – и она, подняв с земли плачущего ребенка, закутала его тем же покрывалом, потупившись, быстро прошла мимо нас и скрылась.

– А то было, – спокойно ответил капитан, – что мы с теми двумя удальцами разошлись в толковании слова «добыча».

Наклонившись, он подобрал с земли разряженный pistolет и сунул его за пояс. Потом взглянул на могогаса, по-прежнему стоявшего у выхода, и под усами его обозначилось некое подобие улыбки.

– Спор становился все жарче и складывался не в мою пользу. И тут появился этот мавританин и принял в нем живейшее участие...

Алатристе подошел к нам поближе и теперь очень внимательно оглядывал могогаса с ног до головы. И, похоже, остался доволен увиденным.

– Эспаньоли уметь говорить? – коверкая язык, спросил он.

– Да, я знаю ваш язык, – ответил тот без малейшего чужестранного выговора.

Капитан теперь рассматривал висевшее у него на поясе оружие.

– Славная штука.

– Полагаю, что так.

– И ты владеешь ею на славу.

– *Уах*. Мне приходилось это слышать.

Несколько мгновений оба молча глядели друг другу в глаза.

– А как тебя зовут?

– Айша Бен-Гурриат.

Я ожидал, что последуют еще какие-то слова и объяснения, однако не дождался. Бородастое лицо араба осветилось улыбкой – такой же беглой и скупой, как у Алатристе.

– Ну, пошли отсюда, – сказал тот, в последний раз окинув взглядом два мертвых тела. – Только надо бы сперва поджечь шатер. Концы – в воду, вернее, в огонь.

Предосторожность оказалась излишней: вскоре мы узнали, что оба негодяя, будучи проходимцами без роду и племени, сущими подонками, не раз уж замеченными в подобных делах, друзьями не обзавелись, так что исчезновение их, никого не встревожившее, списали без проверки на боевые потери. Что же касается возвратного нашего пути, то был он и тяжок, и опасен, но завершился благополучно. На дороге из Тремесена в Оран, под отвесными лучами солнца, сводившими наши тени до крохотного пятнышка у самых ног, растянулась колонна солдат и захваченных людей и скота – овец, коз, коров и нескольких верблюдов: их поставили впереди, опасаясь нападения ифрийских мавров. Перед самым выходом из Уад-Берруха пришлось нам пережить несколько весьма неприятных минут: переводчик Кансино, допрашивая пленных, вдруг осекся на полуслове, как-то растерянно затоптался на месте, замялся, запнулся, но все же довел до сведения сержанта Бискаруэса, что мы разграбили и сожгли совершенно не то становище, какое следовало, ибо проводники ошибкой ли или намеренно вывели нас к поселению мирных мавров, неукоснительно платящих свои дани-подати. А перебито-то их было никак не менее тридцати шести человек. И честью вас уверяю, господа: ни раньше, ни потом не случилось мне видеть ярости такого накала, как в тот миг, когда обуянный ею Бискаруэс, пугая нас лиловатым оттенком вмиг побагровевшего лица и жилами, взбухшими на лбу и шее так, что, право, я думал, сейчас лопнут, орал, что на первом суку вздернет проводников, всех их предков и ту распутную, с хряком спутавшуюся проблядь, что произвела их на свет. Впрочем, тем дело и кончилось. Бискаруэсу ли, человеку практической складки и военному до мозга костей, было не знать, что неразбериха и путаница неотъемлемо присущи бранному ремеслу, а потому не остается ничего иного, как успокоиться. Мирные мавры, немирные – велика ль разница, тем паче если в Орানে за них можно будет выручить совсем недурные деньги? Были такими – стали эдакими, ну, значит, и все, конец, не о чем тут больше толковать.

– Ладно. Снявши голову, по волосам не плачут, – примолвил он напоследок. – Ничего, мы это дело еще проясним... Разберемся, кто напутал... Всем – рот на замок, а тому, кто язык за зубами не удержит, Господом нашим клянусь, я его своими руками вырву.

После чего, перевязав раненых и слегка подкрепившись найденным в становище – хлеб, испеченный в золе, горстка фиников, кислое молоко, – мы двинулись вперед скорым шагом, держа аркебузы наготове и ворон не считая, в рассуждении до темноты оказаться под защитой крепостных стен. Да, как уж было сказано, шли сторожко, головой вертя во все стороны – в авангарде гнали скотину, затем следовало ядро отряда, обоз и пленные, коих оказалось двести сорок восемь человек – мужчин, женщин и детей, – способных идти своими ногами. В хвост колонны поставили еще скольких-то аркебузирова с копейщиками, а кавалерия защищала нас с флангов и дозорами рыскала впереди, высматривая, как бы мавры не вздумали испортить нам радость возвращения или отрезать от воды. По пути и в самом деле имели место мелкие стычки и незначительные сшибки, однако невдалеке от оазиса, именуемого Дель-Морабито, то есть Отшельничьего, по-нашему говоря, где в изобилии произрастали пальмы и рожковые деревья, арабы, которые в изрядном количестве наступали нам на пятки, подкарауливая отставших или ожидая удобный случай, решили, что случай этот наконец представился, и вздумали к источнику нас не допустить, предприняв на сей раз серьезную атаку: больше сотни всадников с гиканьем и свистом, выкрикивая что-то очень непристойное и донельзя для нас оскорбительное, ударили нам в хвост. Однако арьергард не сплеховал, запалил фитили, и арабы, когда их сильно покропило свинцовым дождичком, повернули коней и умчались, оставив нескольких убитых и решив более не пытаться счастья. Радуюсь одержанной победе и сбереженной добыче, мы поспешали в Оран, дабы сбыть ее там, и уста мои будто сами собой зашевелились – а я тому не препятствовал, – произнося такие вот стихи:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.